Далеко на востоке (Халхин-гольские записки)

Константин Симонов

SHOUT
SHARE
IT

- Симонов Константин
  - ○

Симонов Константин
Далеко на востоке (Халхин-гольские записки)

Симонов Константин Михайлович

Далеко на востоке. Халхин-гольские записки

{1} Так обозначены ссылки на примечания. Примечания после текста.

Автор: Время боев на Халхин-Голе - время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом Берлин. Мои записи о том лете и осени на Халхин-Голе не история событий, а лишь свидетельство одного из очевидцев о виденном своими глазами.

От автора

Неужели минуло уже почти тридцать лет после тех событий, в Монголии, на реке Халхин-Гол, о которых идет речь в этих записях? Я задавал себе этот вопрос, перечитывая их и думая о том, через сколько пластов времени прошло мое, перешагнувшее за свой пятый десяток, поколение.

Время боев на Халхин-Голе - время моей юности, предгрозья перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом Берлин.

Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие.

Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено.

Халхин-Гол был посредине. Там, в далекой пустыне, бок о бок с монголами сражаясь против вторгшихся в Народную Монголию японцев, армия первой в мире страны социализма с оружием в руках выполнила свой интернациональный долг. И, думается, именно поэтому события на Халхин-Голе не из тех, которые забываются, хотя, конечно, по своим масштабам они не идут в сравнение со многим из того, что нам пришлось пережить потом.

Мои записи о том лете и осени на Халхин-Голе не история событий, а лишь свидетельство одного из очевидцев о виденном своими глазами.

Остается объяснить, почему эти записи датированы 1948 - 1968 годами.

Вышло так, что, только приведя в порядок все свои материалы, связанные с Великой Отечественной войной, я сумел

вернуться к началу - к Халхин-Голу и записать все, что сохранилось к тому времени в памяти.

А приготовить эти записи к печати руки дошли только теперь.

Далеко на востоке. Халхин-гольские записки

В июне 1939 года к тогдашнему начальнику ПУРа Мехлису пригласили группу, как тогда нас называли, "оборонных" писателей, и он предложил нам поехать в течение лета и осени в командировки в разные части Красной Армии. Все хотели ехать на Халхин-Гол, но послали туда только Славина, Лапина и Хацревина, видимо как людей, уже знавших Монголию. Они поехали вслед ранее уехавшему туда Ставскому. Мне предстояла осенью поездка на Камчатку, в находящуюся там воинскую часть. Вместо этого во второй половине августа меня вдруг вызвали в ПУР к Кузнецову (Мехлис, которого он заменял, в это время был на Халхин-Голе) и спросили, готов ли я ехать в Монголию. Я сказал, что готов.

Как сейчас помню, Кузнецов спросил меня:

- Как, ничего не жмет?

Я сказал, что не жмет.

Как выяснилось впоследствии, вызов объяснялся тем, что Ортенберг, редактор газеты армейской группы, действовавшей на Халхин-Голе, телеграфно запросил "одного поэта".

Когда я сказал, что готов ехать, то выяснилось, что ехать нужно сегодня же, с пятичасовым экспрессом. Происходило все это в час дня. Кое-как успели выписать мне литер и выдать деньги. Обмундирование выдать не успели, сказали, что выдадут на месте.

На пятые сутки я был в Чите, а через сутки уже летел на пассажирском самолете с окошечками в Тамцаг-Булак - тыловой городок, где стоял второй эшелон нашей действовавшей в районе Халхин-Гола армейской группы.

Когда мы летели, летчик вышел из кабины и, обращаясь к нам, сказал, чтобы мы смотрели за воздухом. Я долго смотрел "за воздухом", не обнаружил в нем ничего особенного, но с удивлением увидел, что все остальные тоже внимательно смотрят "за воздухом", в котором, видимо, и они ничего такого не замечали. Только впоследствии я выяснил, что фраза "смотреть за воздухом" предполагала наблюдение за тем, не появятся ли японские истребители. Тогда я был далек от такой мысли.

В Тамцаг-Булак прилетели с сумерками, летели туда часа три или четыре над сплошной желто-зеленой степью бреющим полетом; буквально из-под самолета выскакивали стада коз и напуганные шумом гуси и утки.

Тамцаг-Булак оказался городом довольно странного с непривычки вида: в нем было три или четыре глинобитных дома, скорее похожих на сараи, и сотни три малых, больших и средних юрт.

Ночью мне выдали обмундирование, почему-то танкистское, серое, другого, кажется, на мой рост не было. Дали сапоги, пилотку, ремень и пустую кобуру: оружия тоже не было.

Утром кто-то, ехавший в штаб армейской группы на Хамар-дабу, которая была от города километрах в ста с чем-то, обещал завезти меня по дороге в Баин-Бурт - место, где стояла редакция. Утром Тамцаг-Булак выглядел еще непригляднее, чем вечером: кругом была выжженная, желто-зеленая степь без конца и края.

Мы ехали, и я впервые видел знакомые только по картинкам миражи: леса и озера передвигались то слева, то справа от нас.

Дороги, собственно, никакой не было: это была простая колея, накатанная по степи, правда почти на всем протяжении абсолютно гладкая и ровная, только кое-где попадалось полкилометра или километр невыносимой тряски, там, где дорога пересекала полосы солончаков.

А над нашими головами проходили стайками самолеты к фронту.

Часа через два мы добрались до Баин-Бурта. Собственно, нельзя сказать, чтобы это был какой-нибудь пункт на карте. Просто здесь до конфликта находился пограничный пост (в шестидесяти километрах от границы), состоявший из нескольких юрт. Теперь пограничного поста не было, но стояла громадная, длинная палатка, в которой размещалась типография, и три или четыре юрты, в которых жили люди. Поодаль, в километре, виднелись юрты и палатки полевого госпиталя.

Мой попутчик ссадил меня перед юртой, сказал: "Приехали", - повернул машину и уехал.

Я приоткрыл полог и вошел в юрту. В юрте посредине был стол, а по окружности стояли четыре койки. На одной из коек сидел Ставский, на другой редактор армейской газеты полковой комиссар Ортенберг - человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить и который в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным. Он быстро и отрывисто со мной поздоровался.

- Приехали? Очень хорошо. Будете спать в соседней юрте, вместе с писателями. А теперь надо ехать на фронт. Володя, ты возьмешь его на фронт?

Ставский сказал, что возьмет.

- Ну, вот и поедете на фронт сейчас. Пойдите, поставьте свой чемодан.

Я, несколько огорошенный, пошел в соседнюю юрту. Там меня дружески встретили Славин, Лапин и Хацревин. Как выяснилось, именно они посоветовали редактору попросить прислать сюда поэта. Посоветовали не столько из любви к поэзии, сколько из чувства самосохранения, ибо въедливый Ортенберг, узнав, что они в молодости писали стихи, уже несколько раз покушался заставить их заняться этим в газете. Они знали, что какой-то поэт едет, но какой, не знали.

А через пятнадцать минут я сел в "эмочку" рядом со Ставским, который сам вел ее; шофер примостился на заднем сиденье, и мы поехали на фронт.

Несколько слов о Ставском, с которым я провел первые в своей жизни три дня на фронте и который был для меня в этом смысле своего рода "крестным отцом".

О нем как о человеке, сколько я помню, разные люди были всегда очень разных мнений. Одни не любили его. Другие - среди них особенно много военных - преданно любили и уважали. Третьи, вспоминая его, говорили о нем то хорошо, то плохо, и в каждом случае вполне искренне.

Мне думается, что правы были именно эти последние, и я сам принадлежу к их числу. Это был удивительно яркий пример человека, которого облагораживали война, опасность и товарищество среди опасности и который от этого до такой степени менялся, что был совсем другим человеком, чем в обычной, мирной, а для него всегда несколько начальственной, украшенной подчеркнуто важными знакомствами обстановке.

Мне пришлось с ним впервые столкнуться, когда я учился в Литературном институте. Он произвел на меня впечатление человека грубого, несправедливого и одновременно претендующего на картинную душевность и безапелляционную "партейную" непогрешимость. Сочетание этого создавало впечатление чего-то неуловимо ханжеского. Я не видел в нем ничего хорошего и имел реальные основания считать, что и он сам ко мне плохо относится.

И вдруг на Халхин-Голе, взявши сразу другой, ворчливо-покровительственный тон, он в течение нескольких дней стал для меня и старшим другом, и дядькой - человеком, искренне беспокоившимся о моей безопасности больше, чем о своей. В нем были истинное дружелюбие, простое, непоказное товарищество и добрая забота.

А потом, после Халхин-Гола и Финляндии, я встретил его опять в Москве. Это был совсем другой человек. По-моему, он был несколько озлоблен тем, что ни его положение, ни знакомства ни заслуги, ни авторитет как писателя-фронтовика не могли сломить

какого-то едва заметного, по все же уловимого сквозь комплименты холодка, когда речь о нем заходила просто как о писателе.

Но это всего лишь деталь, связанная с его тогдашним настроением, а главное, передо мной вновь был человек грубый и самодовольный, с напыщенной прямотой и нетерпимостью говоривший о других людях.

А потом были 1942 - 1943 годы. Я неоднократно встречал на фронте людей литературных, а чаще - нелитературных, командиров дивизий, полков, которые говорили, что вот тогда-то или тогда-то у них был Ставский, и говорили о нем хорошо, с теплотой, с уважением к его храбрости и простоте. А надо ведь сказать, что к нашему брату писателю при всем армейском гостеприимстве потом, в воспоминаниях, относились сурово: и косточки перемывали, и не дай бог какая-нибудь червоточинка! Ее сразу замечали и долго о ней вспоминали. Значит, он там, на передовой, в самом деле был опять простым человеком и хорошим товарищем.

Он погиб в 1943 году. И когда мы в своей среде разговаривали о нем, я вспоминал сразу двух человек: одного - грубого, недружелюбного, напыщенного; другого - заботливого, простого, сердечного. Вспоминал и обоих сразу и порознь.

Что же было? Непосредственная ли опасность украшала душу человека и он отбрасывал в себе все мелкое и злое, даже очень привычное и въевшееся? Или просто обстановка: окопы, поле, по которому надо было переползать, блиндаж, плащ-палатка, на которой стояла вскрытая ножом консервная банка и лежали два куска хлеба, твой и мой? Может быть, это не давало вспухать в горле пышным и ханжеским словам, останавливая их, и он говорил с тобой просто как товарищ, а не как "большое лицо" Трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, все это было точно так, как я сейчас вспоминаю.

Уже не могу вспомнить сейчас во всех подробностях, как проходили те первые для меня дни на Халхин-Голе. Помню, что была жаркая громадная степь, по которой Ставский с удивительным чутьем ехал, переезжая с колеи на колею, а их было бесконечное количество, ибо степь была ровной, как стол.

Успех наступления уже определился. Бои со дня перехода наших войск в наступление шли седьмой день, а на десятый все уже было кончено. Наши в районе сопки Номун-Хан-Бурт-Обо сомкнули кольцо и сейчас брали сопки Зеленую, Песчаную и Ремизовскую - последние опорные пункты японцев.

Сначала мы поехали в штаб армейской группы на Хамар-дабу. Это была не слишком выдававшаяся над степью возвышенность с

довольно крутыми скатами и извилистыми, расходившимися в разные стороны оврагами, вроде балок на верхнем Дону, только совершенно безлесными. В скаты были врыты многочисленные блиндажи, а кое-где стояли юрты, сверху прикрытые от авиации натянутыми сетками с травой.

Ставский пошел по начальству узнавать, что происходит и куда ехать, а я довольно долго - должно быть, с час - сидел около какой-то юрты, кажется отдела по работе среди войск противника, в которую за этот час несколько раз приходили люди с разными трофеями: японскими записными книжечками, связками бумаг и фотокарточек - и оставляли все это в юрте.

Там сидел какой-то равнодушный лейтенант и разбирал все это, откладывая нужное на стол и бросая ненужное на пол. Пол юрты был завален фотографиями. Японцы, как я убедился в этом впоследствии, очень любят сниматься, и почти в каждой солдатской сумке были десятки фотографий: фотографии мужские, женские, фотографии стариков - видимо, родителей, фотографии японских домиков, улиц, открытки с Фудзиямой, открытки с цветущей вишней - все это целым слоем лежало на полу, и проходившие к столу, за которым сидел лейтенант, шагали по всему этому туда и обратно, не обращая никакого внимания на то, что у них под ногами.

Это было мое первое и очень сильное впечатление войны. Впечатление большой машины, большого и безжалостного хода событий, в котором вдруг, подумав уже не о других, а о самом себе, чувствуешь, как обрывается сердце, как на минуту жаль себя, своего тела, которое могут вот так просто уничтожить, своего дома, своих близких, которые связаны именно с тобой и для которых ты что-то чрезвычайно большое, заполняющее огромное пространство в мире, а от тебя может остаться просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями.

Тогда, на Халхин-Голе, у меня не было с собой ничьих фотографий, но в 1941 году, когда я взял на фронт фотографию близкой мне женщины, я так и не смог избавиться от этого халхин-гольского воспоминания о юрте с фотографиями на полу и от ощущения жгучей опасности не по отношению к себе самому, а именно по отношению к этой фотографии, лежащей в кармане гимнастерки как частица всего, что осталось дома и что может быть взято и растоптано чужим каблуком.

Через час Ставский пришел, и мы поехали. Он сказал, что поедем на северную переправу, а оттуда - к Песчаной высоте, которую как раз сейчас берут.

По узкому мостику мы переправились через реку Халхин-гол - Ту самую спорную реку, до которой японцы числили свою

границу и через которую они переходили еще в июле с намерением окружить всю нашу группу.

Сейчас бои шли довольно далеко за рекой, километрах в восьми. Оттуда слышалась густая артиллерийская канонада.

У переправы, на том берегу, было несколько землянок. Мы зашли в них, не помню зачем, и в это время невдалеке от нас японцы стали бомбить переправу.

Я впервые видел бомбежку. Это показалось мне больше всего похожим на внезапно возникшие на горизонте чёрные рощи. Потом мы поехали. Японцы опять бомбили, на этот раз близко от нас. Мы остановили машину и полезли в щель. Помню, я испугался, заметался, попал не в щель, а в какую-то воронку, которая, впрочем, показалась мне глубокой и поэтому безопасной. Когда мы вылезли, то Ставский сердился, что я отстал от него, и сказал, чтобы я держался возле него, а потом высмеял меня за то, как я оправдывался: что воронка была ближе и что она была глубокая. Высмеяв мое представление о безопасности, он стал терпеливо объяснять мне, что такое щель, почему ее роют под углом, почему ее роют узкую и почему она безопаснее, чем воронка.

Потом мы опять поехали дальше по степи. Сначала добрались до позиций артиллерийского дивизиона, где орудия стояли под сетками и вели беспрерывный огонь по гребню желтой высоты, видневшемуся невдалеке, километрах в трех. Это и была сопка Песчаная.

Но вел огонь не только этот дивизион - вели огонь еще несколько дивизионов, и гребень сопки, немножко впалый, как кратер вулкана, все время вспыхивал разрывами и дымился. Это было похоже на извержение, особенно если смотреть в бинокль. Хотя я знал еще со школьной скамьи разницу между скоростью света и звука, но несоответствие между появлением вспышек на гребне сопки и звуками разрывов бессознательно продолжало Удивлять меня весь этот первый день.

От артиллеристов мы перебрались к пехотинцам; это был полк Федюнинского, впоследствии, в Отечественную войну, командовавшего армией, а тогда командира полка. Он был накануне ранен, причем, кажется, в неподходящее место - пониже спины. Во всяком случае, по этому поводу шутили и передавали его собственные ругательные остроты.

Командовал полком маленького роста майор. Помню его каску и очень грязную шинель, нескладно подпоясанную ремнем и горбившуюся на плечах. У него отросла семидневная щетина, очевидно, он не брился с начала наступления. Он был похудевший, усталый, со впалыми глазами. Кажется, фамилия его

была Беляков, впрочем, не помню, может быть, я ошибаюсь. Он был заместителем командира полка по строевой части и принял на себя командование после ранения полковника. Его полк наступал на Песчаную сопку прямо в лоб. Сейчас он немного продвинулся и перенес командный пункт.

Мы оставили машину, потому что ехать дальше было нельзя: местность простреливалась, - и пошли вперед вместе о майором на новый командный пункт. Изредка чиркали пули. Тогда мне показалось, что это где-то далеко, и я даже удивился, когда одна шлепнулась близко, и я увидел, как фонтанчиком встал песок. Мы прошли открытое место, потом закрытое, потом еще раз открытое, но по нас больше не стреляли, и мы выбрались на гребень низкого, но длинного холма, где был только что отбит японский блиндаж. Вокруг этого блиндажа, за гребнем высотки, разместился командный пункт полка, а командный пункт батальона, который был здесь до этого, ушел еще на сто метров вперед.

Сопка была отсюда хорошо видна. Она оказалась двойной: одна сопка немножко подальше и побольше, а другая - поменьше и поближе, метрах в трехстах от нас, может быть в четырехстах.

Уже начало смеркаться. Проходили раненые. Прошел маленький старшина, потный, обросший и с рукой на перевязи.

- И тебя ранило? - спросил майор.

Тот кивнул и выругался по адресу японцев и, ни на кого не обращая внимания, пошел дальше.

- Был командиром роты, - сказал майор. - Всех командиров в роте убило.

Как-то не сразу я заметил убитых японцев. Их было много: несколько лежало в круглых окопах в стороне, несколько - прямо на высотке, довольно много трупов лежало внизу, под холмом, - видимо, их уже свалили туда, вытащив из окопов.

Потом я заметил и наших. Лица их и головы были закрыты шинелями. Их лежало пять или шесть человек на горушке. Я думал сначала, что они отдыхают. Меня удивило только, какие у них длинные ноги. Оказалось, что это лежали мертвые. Потом подошел танк и привез еще одного убитого - командира роты. Его завезли на командный пункт полка, - сняли с брони, положили на землю, а танкисты быстро уехали заправляться.

Не помню точно всего, что было в этот день, и боюсь спутать, что было в этот, и что в следующий, и еще через день. Все эти три дня у меня как-то сошлись в один.

Ставский постоянно сам интересовался происходящим и в то же время не уставал мне объяснять, что, где, как и почему, причем ни чуточки не иронизировал над моей неопытностью, а

все объяснял всерьез и досконально.

Надвигалась ночь. Примостились спать в мелких кустиках возле окопов. Я сдуру поехал без шинели. Ставский отдал мне свою плащ-палатку и при этом как-то особенно заботливо укрыл меня. Спал я крепко, но недолго, наверное часа два. Проснулся до рассвета и увидел, что устроился неудачно: то, что я принял за кочку, были ноги полузасыпанного землей японского солдата; от трупа шел запах; может быть, от него я и проснулся. Я перелег, но заснуть уже не мог.

Чуть рассвело, началось наступление. Мы перебрались на командный пункт батальона. Это был тоже маленький холмик о японскими окопами. Было тесно, потому что было много народу, Сюда же пришел комиссар дивизии - худощавый, южного типа человек, отчаянно мучившийся приступом язвы. Он был совершенно белый. Видно было, как ему плохо. Он все время интересовался боем и даже отдавал приказания, но у меня было такое чувство, что ему не до этого, не до боя и не до опасности, что боль, которая его мучает, сильнее.

Отсюда до ближайшей сопочки было метров двести. По ней вели огонь наши пушки. Сопочка эта мешала подходу к высоте. Ожидали, когда ее займут, чтобы начать штурм большой высоты.

Мы все время следили за этой сопочкой, а японцы оттуда все время обстреливали командный пункт нашего батальона. Пули проходили над козырьком окопа, а иногда закапывались в землю. Кто-то, слишком далеко высунувшийся, был убит наповал. Его отнесли назад и, как и у тех, раньше убитых, шинелью накрыли ему голову,

Я от времени до времени немножко высовывался, стараясь как можно глубже надвинуть на лоб каску и таким образом до минимума сокращая незащищенное расстояние между краем каски и глазами. Мне казалось, что так все-таки менее страшно, а смотреть постоянно хотелось.

Вдруг Ставский закричал:

- Смотри, смотри!

Я высунулся: из окопов, на вершине маленькой сопочки, один за другим выскакивали - их было довольно много - японцы и бежали через гребень сопки назад, к седловине, к большой сопке. Видимо, они выскочили, не выдержав огня, а может быть, получив приказ отступить на главную сопку. Во всяком случае, они один за другим выскакивали и бежали назад.

Комиссар дивизии не своим голосом закричал что-то, и две пушки, стоявшие сзади нас, перекатились на бугор рядом с нами, и артиллеристы очень быстро стали стрелять прямой наводкой по бежавшим в двухстах пятидесяти метрах от нас и очень хорошо

видимым на гребне холма японцам. Снаряды один за другим попадали в самую гущу их. Кто-то еще бежал вперед, падал, опять бежал, наконец все упали.

Может быть, мне показалось это, но у меня до сих пор сохранилось ощущение, что я видел, как снаряд угодил прямым попаданием в одного из японцев. Может быть, на самом деле снаряд разорвался у него под ногами, но я видел, как человек, который только что был, вдруг на моих глазах исчез.

Через полчаса мы уже были на той сопочке, по которой стреляли наши пушки. Пушки катились дальше, пехота шла дальше, и к вечеру вся Песчаная высота была занята. Мы ночевали на ней среди многочисленных еще не убранных трупов, среди остатков чужой рухляди - вееров, бумаг, котелков, крошечных мешочков с маленькими японскими галетами, связок тоже крошечной сушеной рыбы - и среди того странного, как говорили тогда, "японского", запаха, который на самом деле был запахом креозота: японцы дезинфицировали им свои окопы.

На следующее утро мы на танке (иначе проехать было нельзя) перебрались на другой участок, где брали последнюю сопку. Перебирались мы по открытому месту, ибо между полком, где мы были, и полком, в который мы ехали, была сопка с японцами, все кругом простреливалось, и, если не ехать прямо, нужно было обходить где-то очень далеко, по большому кольцу наших войск, замыкавшему окруженных японцев.

Никакого ощущения от пребывания в танке, кроме ощущения грохота и многочисленных ушибов, я не испытал. Я был куда-то запихнут, и кто-то полусидел на мне, и я ничего никоим образом не мог видеть. В однообразный рев и грохот танка врывались еще какие-то грохоты. Когда мы приехали, выяснилось, что нас по дороге обстреливала артиллерия, но все сошло благополучно.

У этой последней сопки мы провели почти весь следующий день. Наконец она была взята. Мы пошли по окопам, буквально забитым телами убитых японцев. Я никогда потом не видел такого количества трупов в окопах. Видимо, сюда сползлось все, что могло сползтись. Это была самая последняя точка организованного сопротивления. Очень много было исколотых штыками. Было очень много ходов сообщения, окопов, блиндажей. Вся сопка была изрезана ими вдоль и поперек.

Кое-где еще раздавались выстрелы. Это доколачивали последних отстреливавшихся в блиндажах японцев. Потом при нас из песчаной норы вдруг вылез японец с поднятыми руками, с окровавленными и кое-как обмотанными бинтами лицом и шеей. Какой-то боец скинул с плеча винтовку и бросился на японца со штыком. Его остановили.

- Они только пять минут назад нашего командира роты убили - вот так, с поднятыми руками вышли! - кричал боец и рвался к японцу.

Его все-таки удержали, а кто-то сказал, что действительно здесь вот пять минут назад убили командира роты - так же вот вышли с поднятыми руками и убили!

Мы продолжали ходить по окопам, и я нервничал оттого, что так и не получил нагана и у меня не было никакого оружия. Тут, наверное, было все вместе взятое: и страх, что вдруг откуда-то выскочит на меня японец, а я ничего не смогу сделать, и просто мальчишеское желание идти с наганом в руке, как ходили другие.

Бой угасал. На горизонте начинало зеленеть и краснеть. По-прежнему пахло креозотом. Вдалеке в двух или трех местах слышались пулеметные и винтовочные выстрелы. Где-то на маленьких сопочках и пригорках и просто в поле бродили последние группы японцев. Их добивали в мелких стычках, по-моему, еще дня три. Но война уже заканчивалась, это чувствовалось.

Ставский сказал, что ничего интересного больше не предвидится и что мы можем ехать к себе в Баин-Бурт: надо давать материал.

- Ты что будешь давать? - спросил он.

Я сказал, что попробую написать несколько рассказов в стихах о героях боев.

Мы пошли обратно. Оказалось, что Ставский уже распорядился, чтобы шофер пригнал "эмку" куда-то неподалеку. Нам предстояло пройти только небольшую ложбинку - там на холмике за кустами стояла наша "эмочка". Мы пошли через эту ложбинку метров двести длиной. Впереди шел Ставский, я за ним, больше никого не было.

И вдруг я услышал легкий свист и шлепок пули. Я вздрогнул, пригнулся, собирался лечь, но Ставский продолжал идти, не оборачиваясь. Я пошел тоже. Еще свист и шлепок. Потом длинная пауза. Ставский все не убыстрял шага. Прошли еще сто метров. Вот мы уже почти у холмика, сейчас мы зайдем за него. Еще свист и шлепок, еще свист и шлепок и еще один. Ставский идет все так же последние десять метров, и мы наконец за холмом. Только здесь Ставский оборачивается ко мне и говорит:

- Кое-где одиночки все-таки остались, еще несколько дней будут за нашими охотиться.

Машина действительно стояла там, где он сказал. Мы поехали обратно. Начинало все сильнее темнеть. То там, то здесь на скатах сопок и холмиков чернели остовы наших сгоревших танков и бронемашин. Около одной из них мы почему-то

остановились. Ставский полез посмотреть. Это был легонький связной броневичок, зарывшийся передними колесами в японский окоп и уткнувшийся пулеметным стволом в землю. Рядом с ним прямо из земли торчали сапоги. Видимо, здесь же рядом, кое-как засыпанный песком, лежал погибший экипаж.

- Добрался, маленький, - сказал Ставский.

Как сейчас помню, это выражение, адресованное маленькому связному броневичку, показалось мне трогательным. В самом деле, к этому броневику была какая-то нежность: вот такой маленький, а дошел, врезался в окоп и здесь в последнюю минуту погиб.

Когда сели в машину, мне пришла в голову мысль, которую я сейчас же высказал Ставскому, - что хорошо бы, когда кончится конфликт, вместо всяких обычных памятников поставить в степи на высоком месте один из погибших здесь танков, избитый осколками снарядов, развороченный, но победивший.

Ставский резко заспорил со мной, говоря, что зачем же как монумент победы ставить ржавое, разбитое, то есть потерпевшее поражение, железо! Раз танк был так или иначе разбит или поврежден, он не годится для монумента победы.

Мы довольно долго спорили, но так и не сошлись во взглядах. Потом, когда я написал и напечатал стихотворение "Танк", в котором говорилось об этом, мы со Ставским случайно встретились в Москве и опять поспорили. Он снова говорил, что я не прав. Но дело было, конечно, не в его или моей правоте, а в том, что эта же идея постепенно рождалась у самых разных людей: на нее наталкивала сама война. И сколько их, таких памятников, сейчас стоит, после войны, в разных местах! Кстати, как мне говорили, на Халхип-Голе теперь тоже стоит именно такой памятник-танк...

Совершенно неисповедимыми путями, по кромешной тьма Ставский, не вылезая из-за руля, за три часа довел машину до Баин-Бурта, сделав на обратном пути по непроглядной степи около ста километров.

Мы остановились у юрты Ортенберга. Я пошел туда переполненный впечатлениями, усталый, взволнованный и счастлив вый в этот момент тем, что война уже кончилась и опасности позади. Я чувствовал себя если не совсем, то почти причастным ко всему, что произошло.

В юрте было жарко. Топилась стоявшая посредине и уходившая трубой в потолок железная печка, а Ортенберг сидел на койке в полном обмундировании и спал, навалившись лицом и руками на стол, на котором лежала свежая полоса газеты "Героическая красноармейская". Он каждый день с рассвета

уезжал в войска, возвращался к ночи и, выпустив газету, снова уезжал. Когда мы вошли, он поднял голову, посмотрел на нас сонными глазами, потом посмотрел на полосу, лежавшую перед ним, и красным карандашом - он, заснув, продолжал держать карандаш в руке - размашисто вычеркнул несколько абзацев, потом подумал,

посмотрел на меня и вычеркнул целую колонку. Потом сказал:

- Надо написать стихи в номер. Сколько вам нужно строк? Шестьдесят хватит?

Я не нашел даже, что сказать.

- Шестьдесят, - сказал он. - Я снял тут одну колонку. Идите пишите.

Ночью я написал свое первое стихотворение для нашей армейской газеты. Это был мой первый опыт писания фронтовых рассказов в стихах, посвященных конкретным людям с подлинными фамилиями. Таких вещей я на Халхин-Голе написал десять или двенадцать. В начале Великой Отечественной войны по настоянию Ортенберга я, работая уже в "Красной звезде", написал еще два таких стихотворения, а потом бросил это и перешел на военные корреспонденции.

Я написал стихи, лежа на койке в юрте, и отнес их Ортенбергу. Он сидел над повой полосой, опять положив руки и голову на газетный лист, и опять спал. Когда я вошел, он встряхнулся, молча взял стихотворение и прочел его.

- Хорошо. Потом спросил:

- А тут все фактически верно? Я подтвердил.

- А то, может быть, не стоит настоящую фамилию? - еще раз спросил он.

Я еще раз сказал, что нет, что все фактически верно и можно ставить настоящую фамилию.

- Ну, хорошо. Идите спать.

Я пошел спать и долго не мог заснуть. Моих соседей по юрте - Льва Исаевича Славина, Захара Хацревина и Бориса Лапинане было: они уехали утром и еще не вернулись.

Шел мелкий и сильный дождь. Подхваченный ветром, он летел даже не вкось, а почти параллельно земле. Слышно было, как шумит под дождем войлок.

А кругом была черная степь, абсолютно черная, без единого огонька, без единого пятна; даже соседних юрт не было видно; к ним надо было добираться на ощупь и угадывать, где они. Когда я приоткрывал войлок, завешивавший вход в юрту, то мне казалось, что я стою посредине большой черной комнаты без окон.

На следующий день я опять поехал на фронт и в ближайшие

дни ездил туда, как на дежурство. Рано утром выезжал, поздно ночью возвращался. Писал стихи, спал два-три часа, а если не успевал, то прямо садился в машину и опять ехал на фронт. Спал главным образом в дороге на заднем сиденье; за долгий путь сильно затекали ноги.

Боев, в сущности, уже не было. Наши и монголы вышли на границу с Маньчжурией, воткнули флаги и начали строить полевые укрепления, устанавливать колючую проволоку, класть малозаметные препятствия, состоявшие из тонкой, невидимой в траве, свитой спиралью проволоки. Достаточно было попасть в нее одной ногой, а потом другой, чтобы запутаться, не говоря уже о машине, которая мгновенно накручивала эту проволоку на оси и останавливалась. Рыли окопы, строили блиндажи. Кое-где вдоль границы происходили перестрелки с японцами. То там, то тут все еще добивали маленькие очажки японцев у нас в тылу и ловили одиночек. По ночам японцы стреляли, пробираясь к себе. На местах недавних боев наспех закапывали трупы. Там, где полевые дороги шли в теснинах между сопок, стоял тяжелый запах гниения.

Ночи были холодные, днем бывало то сухо и ветрено, то дождливо и ветрено. Дождь пронизывал до костей.

Разговаривая с людьми - с танкистами и с пехотинцами, - я понемногу уяснял себе картину боев, происходивших в течение четырех месяцев в этой бесконечной травянистой пустыне.

С самого начала конфликта мы были поставлены в очень тяжелые условия. У нас до ближайшей железнодорожной станции армейского снабжения - Борзи - было семьсот с лишним километров, а у японцев всего в ста километрах был Хайларский, железнодорожный узел, а примерно в тридцати километрах последний пункт строившейся Холун-Аршанской железной дороги.

Кстати говоря, постройка этой дороги явилась одной из причин конфликта. Примерно в пятнадцати километрах от границы между Монголией и Маньчжурией начинались первые отроги Хинганского хребта. Японцы тянули дорогу вдоль этих отрогов с юго-востока на северо-запад с таким расчетом, чтобы подвести ее к нашей границе, возможно ближе к Чите.

На участке Халхин-Гола монгольская граница образовывала большой выступ в сторону Маньчжурии, и японцы должны были или вести здесь дорогу через отроги Хингана, или строить ее в непосредственной близости к границе, на расстоянии орудийного выстрела.

Видимо, это не устраивало их, и они, помимо очередной провокации, ставили перед собой еще и практическую цель -

захват всей полосы реки Халхин-Гол и прилегающих к ней высот для обеспечения строительства своей стратегической ветки, которое остановилось как раз перед Тамцаг-Булакским выступом.

Наверное, оттуда, с отрогов Хинганского хребта, были видны наши передовые позиции. Сопки без единого дерева, кое-где мелкий низкий кустарник, узкая и глубокая река Халхин-Гол и еще более извилистый, чем она, впадающий в нее ручей Хайластин-Гол. Западней за Халхин-Голом снова шла гряда сопок и возвышенностей, а дальше тянулась бесконечная монгольская степь до самого Тамцаг-Булака, а за ним еще на триста километров до Баин-Тумени и еще на полтысячи километров до Улан-Батора, по-старому Урги.

Было что-то странное в этой войне, не похожее ни на что, чему я стал свидетелем потом. Это была война в полном смысле слова в пустыне; справа и слева тянулись бесконечные, ничем не защищенные степи, и только здесь, на участке в пятьдесят - шестьдесят километров, возводились вдоль гряды сопок легкие полевые укрепления. Конница, всадники могли обойти все это степями, взяв на сто или даже двести километров в сторону.

И с одной и с другой стороны было что-то упорно обусловленное в том, что именно на этом участке четыре месяца происходили кровопролитнейшие бои. Маневрируя в пределах этой полосы, противники ни разу не раздвигали ее в стороны больше чем еще на пять - десять километров.

Чуть севернее было синевато-свинцовое озеро Буир-Нур, холодное, чистое, окруженное низкой веселой зеленью, желтыми песчаными косами. Там, в районе пограничной заставы, и начались бои, начались, но сразу же переместились южнее, к реке Халхин-Гол. А застава, вблизи которой все началось, так и осталась спокойно-нетронутой и мирной со своим маленьким домиком, с остатками какого-то не то храма, не то кумирни и с невысокой сторожевой вышкой, с которой невдалеке по-прежнему можно было видеть японскую пограничную заставу.

Наши танки пришли сюда, на Халхин-Гол, сделав четырехсоткилометровый марш по пустыне из Ундурхана. Пехота тоже шла по степи несколько сот километров. Ее у нас было не так много. Наша армейская группа, насколько я могу судить, даже в разгар боев насчитывала пехоты меньше, чем японцы. У нас было три дивизии, у японцев две плюс целый ряд отдельных батальонов полицейских, железнодорожных и прочих, превращенных в пехоту; а японская дивизия по численности превышала нашу больше чем в два раза. Но зато у нас было гораздо больше артиллерии и подавляющее преимущество в танках, против которых японцы только один раз неудачно

попробовали бросить свои малочисленные и очень слабые в техническом отношении танковые части.

Авиации было много с обеих сторон, причем первые два месяца превосходство было на стороне японцев, и только на третий месяц после упорной борьбы оно перешло к нам. К концу боев с пашей стороны было особенно много авиации. В первые сутки нашего августовского наступления мы подняли в воздух без малого тысячу самолетов. Что касается происходивших над степью воздушных боев, то я так никогда и не видел потом таково количества самолетов в воздухе - сразу в обозримом глазом пространстве. Во время последнего сентябрьского воздушного боя, предшествовавшего мирным переговорам, когда японцы сделали свой последний звездный налет на наши аэродромы, воздух просто кишел самолетами: их было несколько сот с обеих сторон одновременно.

А кругом была пустыня. И воду возили на больших машинах, точно таких же, как бензиновозки. И ездили военторги в автобусах. И вообще у меня сохранилось ощущение, что на этом фронте, снабжавшемся за семьсот километров, было очень много машин - целые тысячи.

Рядом с нами, прямо в голой степи, стоял армейский госпиталь - десяток длинных брезентовых палаток.

"Дугласы" и ТБ-3, эвакуировавшие раненых в Читу, садились неподалеку от госпиталя, иногда подруливали прямо к палаткам; оттуда выносили раненых, грузили на самолеты, и они улетали. Ближайшая питьевая вода была в Халхин-Голе с его притоком Хайластин-Гол и в озере Буир-Нур. А дальше в тыл на много километров не было годной воды. Только белые солончаковые озера, из которых нельзя пить. Воду возили издалека и экономили.

Чаще всего я бывал у танкистов, в бригаде Яковлева, одного из первых Героев Советского Союза, погибшего во время танковой атаки еще до моего приезда. Он был убит, когда поднимал залегшую и не двигавшуюся за тапками пехоту.

Кстати сказать, помню, как в одной из дивизий удивили меня разговоры с красноармейцами. В одном из таких разговоров я выяснил, что это была территориальная дивизия и что в данном случае разговаривавшие со мной люди попали в эту дивизию, так к не начав еще ничему обучаться. Их учили владеть винтовкой уже по дороге на Халхин-Гол, в вагону а везли их откуда, то с Урала

Не знаю, может быть, это было вызвано тем, что все дальневосточные, давно и отлично обученные дивизии в ожидании перерастания конфликта в войну стояли в местах своей

дислокации и не могли быть переброшены в Монголию, а может быть, имели место какие-то неурядицы, которые так часто бывают на войне, в особенности в первые месяцы ее...

У танкистов я чаще других бывал в батальоне Михайлова, тоже одного из первых Героев Советского Союза, тогда майора, впоследствии полковника, погибшего в Отечественную войну где-то под Калининой, командуя танковой дивизией. С Михайловым мы подружились. Мне нравился этот очень мягкий внешне и очень подобранный и резкий внутренне человек, с мягкой улыбкой и глазами, которые, когда он сердился, становились бешеными. Он был самолюбив, по-моему, и честолюбив и в то же время идеально держал себя в рамках той скромности, которую считал необходимой. Она была у него не природная, а от тренировки воли и холодного рассудка. Но мне и это тогда нравилось в нем.

Я провел в батальоне Михайлова много времени, расспрашивая его о бое при Баин-Цагане. 11-я яковлевская бригада особенно отличилась в этом сражении, которое решило исход первого периода боев на Халхин-Голе и пресекло попытки японцев окружить наши части. Потом, перед самой войной, в 1941 году, я написал поэму "Далеко на Востоке", где, в сущности, рассказана история марша яковлевской бригады через степи и той атаки при Баин-Цагане, за которую Михайлов получил Героя Советского Союза.

На фронте стояло затишье, только продолжались бомбежки и довольно крупные воздушные бои. Петляя по степи то к фронту, то от фронта, я привык к слову "воздух", хотя, впрочем, к этому времени японским истребителям было уже недосуг гоняться за всеми нашими сновавшими по степи машинами.

Удивительная это была степь, а вернее сказать, пустыня. Близко к фронту - ни одной птицы, никаких животных. Только подальше, как раз недалеко от нашей редакции, где была китайская бойня, где забивали пригоняемый монголами скот, было много орлов. На этом участке они сидели почти на всех телеграфных столбах, не пугались машин, медленно, нехотя взлетали. От нечего делать в них часто стреляли и попадали: они были обожравшиеся и ленивые.

А на свалке, около большой ямы, где валялось огромное количество гниющих внутренностей, орлы сновали, как воробьи где-нибудь на провинциальной булыжной мостовой. Их было всегда несколько десятков; они почти но обращали внимания ни на людей, ни на машины, лениво отлетали и снова садились жрать внутренности.

Дальше за нашим Баин-Буртом и за Тамцаг-Булаком, если

отъехать в сторону от дороги, уже попадались утки и гуси, особенно влево от дороги, ближе к солончаковым озерам, видневшимся на горизонте.

А населения в этом районе совершенно не было. За все мое пребывание на Халхин-Голе (я не говорю, конечно, о военных; на южном участке фронта, где я чаще всего бывал, стояла на позициях одна монгольская кавалерийская дивизия, а на крайнем северном - другая) я только раз встретил семью аратов.

Это было около Тамцаг-Булака. Шли несколько верблюдов, груженных вьюками, и рядом с ними старый монгол и старая монголка.

Все население по призыву монгольского правительства снялось из этого района и откочевало вглубь. Это, кстати, облегчало борьбу с японским шпионажем, ибо японцы первое время пытались засылать из Внешней Монголии шпионов в штатском, которые выдавали себя за местных. А потом, когда население откочевало отсюда, каждый встреченный в полосе военных действий штатский уже брался под подозрение.

Первого или второго сентября я был с Ортенбергом на Хамардабе. Наверху, на возвышенности, толпилось много военных. Только что был получен указ о победе, ликвидации японской группировки и о награждениях. Стоял оживленный шумок, все разговаривали; на всех лицах было ощущение удачи и важности момента.

Посредине группы стоял Штерн в форме командарма. Он был подтянут, официален и сияющ. На нем было много орденов, блестела и хрустела совершенно новая портупея, сияли хорошо начищенные сапоги.

А рядом стоял летчик, комкор Смушкевич; являя всем своим внешним видом противоположность Штерну, он стоял с непокрытой курчавой головой и с длинным печальным лицом, в серой коверкотовой гимнастерке, заложив обе руки за спущенный низко, по-крестьянски, ремень. На нем были такие же, как гимнастерка, коверкотовые брюки навыпуск и сандалии на босу ногу. Он недавно разбился, ноги у него были переломаны, и он не мог носить сапоги.

Хотя в первые дни сентября на фронте не было выстрелов, в штабе начинала чувствоваться тревога.

Ждали информации о том, что происходит у японцев. Ходили всякие слухи, а главное, всех волновал вопрос, сочтут ли японцы себя разбитыми и постараются ли на этом закончить конфликт или втянут в дело новые силы. Может быть, даже всю Квантунскую армию, и тогда начнется что-то большое. Мы, пассивно стоящие теперь здесь, на этом выступе монгольской

границы, в случае большой войны могли оказаться глубоко обойденными со стороны бескрайних, ничем не прикрытых степей, где кочевали только разъезды да патрулировали самолеты.

Во время одного из заездов своих на Хамардабу мне пришлось впервые столкнуться в военной среде с теми же самыми спорами о талантах и способностях и притом почти в той же непримиримой форме, в какой они происходят у братьев писателей. Я не предполагал встретиться с этим на войне и поначалу удивился.

Не помню, кого-то дожидаясь, не то Ортенберга, не то Ставского, я сидел в одной из штабных палаток и разговаривал с командирами-кавалеристами. Один из них - сейчас уже давно генерал, а в то время совсем молодой еще полковник, служивший с Жуковым чуть ли не с Конармии, - убежденно и резко говорил, что весь план окружения японцев - это план Жукова, что Жуков его сам составил и предложил, а Штерн не имел к этому плану никакого отношения, что Жуков - талант и что все это именно так, потому что - он это точно знает - никто, кроме Жукова, не имел отношения к этому плану.

Разговор не носил личного характера. Если бы это было так, о нем не стоило бы и вспоминать. В словах полковника была та же увлеченность и безапелляционность, которая нередко бывала в наших собственных разговорах, когда мы, молодые питомцы Литературного института, категорически настаивая на талантах своих любимых поэтов и учителей, попутно, не слишком заботясь

о справедливости, развенчивали всех остальных...

Седьмого сентября японцы на нашем крайнем правом фланге в районе сопки Ирис-Улийн-Обо произвели пробу сил одним батальоном вновь подошедшей гвардейской дивизии. Батальон ночью занял сопку, а днем почти целиком лег на ней, оставив 496 человек убитых. Наши потери были всего шесть или восемь человек. Японцев раздавили артиллерией и танками.

На следующий день в редакцию заехал где-то в другом месте ночевавший Ставский, вызвал меня из юрты и таинственно сказал:

- Собирайся без всяких разговоров, никому ничего не говори. Поедем: интересное дело!

Я сел с ним в машину. На Хамардабе к нам присоединился начальник политотдела армейской группы полковой комиссар Горохов.

И мы - теперь уж четверо, два полковых комиссара, шофер и я двинулись, насколько я мог судить об этом при моей слабой ориентировке, куда-то на южный участок фронта.

Добрались мы туда к ночи. В одном месте дорогу нам преградили двигавшиеся танки; они шли, пыхая голубыми отсветами из глушителей и особенно громко лязгая в ночном безмолвии степи. Прошло их довольно много, штук сорок.

Ставский волновался все время, пока проходили танки, и спрашивал Горохова: что бы это могло быть, почему танки идут не в ту сторону, в какую им нужно идти?

Остановив ехавшую за танками легковую машину, мы от сидевших там командиров узнали, что предстоявшая операция отменена, уже не помню теперь по каким причинам: не то японцы сами отступили и ушли, не то у нас появились какие-то высшие соображения.

Оказывается, Ставский поехал сюда потому, что здесь предполагалась большая ночная операция - окружение той вновь прибывшей японской гвардейской дивизии, один батальон которой уже погиб на Ирис-Улийн-Обо.

Все злились из-за этой отмены: злился Ставский, злился Горохов, злился даже я. Видимо, оттого, что Ставский злился, он не смотрел за дорогой, и мы в первый и единственный раз за все время моих поездок со Ставским на Халхин-Голе сбились с дороги, повернули один раз, повернули другой раз, окончательно запутались и застряли в песках. После этого стали выяснять, где мы. Ставский долго соображал и со своим удивительным чутьем как позже выяснилось, оправдавшимся и на этот раз) ворчливо сказал, что мы находимся, очевидно, как раз посредине, между японцами и позициями 8-й монгольской кавалерийской дивизии, на самом крайнем фланге.

- Давайте вытаскивать машину.

Стали вытаскивать машину. Несколько раз садились на песок и отдыхали. Потом Ставский сказал, что, если не вытащим машину до утра и не выберемся отсюда в темноте, будет плохо, прохлаждаться нечего. Стали опять тащить машину. Наконец вытащили. И снова поехали в полной тьме.

Ставский вылез и сказал, что где-то здесь, по его расчетам, должен стоять штаб одного из полков 8-й монгольской кавалерийской дивизии, в которой он неделю назад был. Мы оставили машину с шофером и пошли, то полуутопая в песке, то поднимаясь на маленькие барханчики.

Вдруг резкий оклик по-монгольски. Мы стали кричать, в свою очередь, сначала по-русски, а потом вспоминая все известные нам монгольские слова; впрочем, их количество ограничивалось пятью-шестью. В ответ на это последовало щелканье затвора теперь уже различимого в темноте часового-монгола.

Мы остановились. Из темноты подошел другой цирик и тоже

щелкнул затвором. Ставский выругался и сказал, что вот сейчас они нас и застрелят. Но Горохов вдруг стал кричать:

- Штаб! Штаб!

При слове "штаб" винтовки опустились. Обойдя нас с двух сторон и замыкая наше шествие, часовые с винтовками наперевес довели нас до штаба. Ставский долго болтал там с нашим знакомым ему советником. Я сперва прислушивался к их разговору о майских и июньских боях, а потом задремал. Ставский растолкал меня, и мы поехали обратно.

Так неудачно кончилась эта обещавшая стать интересной поездка.

На следующий день мне с Ортенбергом, Лапиным и Хацревиным пришлось быть у Жукова. Ортенберг хотел узнать, насколько реальны, по мнению Жукова, сведения о близком наступлении японцев, на что нам ориентироваться в газете.

Штаб помещался по-прежнему все на той же Хамардабе, Блиндаж у Жукова был новый, видимо только вчера или позавчера срубленный из свежих бревен.

Кстати, о бревнах. Мне рассказывали, что на северном участке фронта, когда понадобились бревна для полевых укреплений на границе, один из эскадронов, стоявший на самом фланге монгольской кавалерийской дивизии, обогнул степями японцев, забрался глубоко в их тыл и, спилив там на одном из участков Хайларской линии полсотни телеграфных столбов, волоком притащил их на наши позиции.

Итак, блиндаж был совершенно новый, очень чистый и добротно сделанный, с коридорчиком, с занавесочкой и, кажется, даже с кроватью вместо нар.

Жуков сидел в углу за небольшим, похожим на канцелярский, столом. Он, должно быть, только что вернулся из бани порозовевший, распаренный, без гимнастерки, в заправленной в Приджи желтой байковой рубашке. Его широченная грудь распирала рубашку, и, будучи человеком невысокого роста, сидя он казался очень широким и большим.

Ортенберг начал разговор. Мы примостились кругом. Жуков отмалчивался. Въедливый, нетерпеливый Лапин стал задавать вопросы. Жуков все продолжал отмалчиваться, глядя на нас и Думая, по-моему, о чем-то другом.

В это Время вошел кто-то из командиров разведки с донесением. Жуков искоса прочел донесение, посмотрел на командира сердитым и ленивым взглядом и сказал:

- Насчет шести дивизий врете: зафиксировано у вас только две. Остальное врете. Для престижа... Хлеб себе зарабатывают, - сказал Жуков, обернувшись к Ортенбергу и не обращая внимания

на командира.

Наступило молчание.

- Я могу идти? - спросил командир.

- Идите. Передайте там, у себя, чтоб не фантазировали, если есть у вас белые пятна, пусть честно так и остаются белыми пятнами, и не суйте мне на их место несуществующие японские дивизии.

Когда офицер вышел, Жуков повторил:

- Хлеб себе зарабатывают. Разведчики. - Потом повернулся к Лапину и сказал: - Спрашиваете, будет ли опять война?

Борис заторопился и сказал, что это не просто из любопытства, а что они с Хацревиным собираются уезжать на Запад в связи с. тем, что там, на Западе, кажется, могут развернуться события. Но если здесь, на Востоке, будет что-то происходить, то они не уедут. Вот об этом он и спрашивает.

- Не знаю, - довольно угрюмо сказал Жуков. И потом повторил опять: - Не знаю. Думаю, что они нас пугают. - И после паузы добавил: - Думаю, что здесь ничего не будет. Лично я думаю так.

Он подчеркнул слово "лично", словно отделяя себя от кого-то, кто думал иначе.

- Думаю, можете ехать, - сказал он, как бы закругляя разговор и приглашая нас расстаться.

Мы вышли. Ортенберг остался еще на несколько минут п вышел вслед за нами. Вопрос об отъезде Лапина, Хацревина и Славина был решен. Через день или два они отправились самолетом через Улан-Батор и дальше - на Москву.

Наша юрта опустела. Как раз в это время Ставский переселился от Ортенберга куда-то на Хамардабу, и я перебрался к Ортенбергу. Там же с нами в юрте жил приехавший сюда в эти дни от "Правды" Николай Кружков. Мне, уже начинавшему чувствовать себя журналистом, его приезд показался хорошим предзнаменованием. Казалось, что раз после окончания событий "Правда" послала его сюда из Москвы, наверное, тут что-то еще будет происходить.

Я застал здесь только несколько самых последних дней войны, и мне хотелось, чтобы здесь произошло что-то еще и чтобы я принял в том, что последует, участие с самого начала.

Пожалуй, в таком желании присутствовали и какие-то дурные авантюристические нотки. Но скажу в свое частичное оправдание, что мои первые впечатления от боев на Халхин-Голе были еще очень далеки от всего того, что породила в моей душе война 1941 года.

То было громадное, вдруг обрушившееся несчастье, которое я

сразу, буквально в первые дни ощутил как трагедию, В 41-м году, особенно в первые, самые страшные месяцы, у меня в душе гораздо меньше места занимало чувство опасности и личные опасения за то, что будет со мной. Физический страх, конечно, был, но это совсем другое. Я говорю о том, что в 41-м году в голове почти не было мыслей о собственной судьбе, а мысли о трагической судьбе родины, о трагедии, которая происходит с ней. Что будет? Как же мы отступаем? Неужели это возможно, неужели немцы могут нас победить? Что это значит?

Там, на Халхин-Голе, все это у меня совершенно отсутствовало. Я ощущал тогда все происходившее там как войну, в которой были затронуты наши обязательства, наш престиж, наша гордость, затронуты мои представления о том, что наша армия лучше всех других. Там происходила проверка этих представлений, по при этой проверке еще никак не были затронуты самые большие трагические проблемы: судьбы родины, родных, близких, наших городов, нашей земли - ничто это затронуто не было.

Все это, казалось, одно, а война на Халхин-Голе совсем другое. Было радостно, что мы в ней победили. Даже хотелось, чтобы японцы еще раз полезли и чтобы мы их еще раз разбили. Было романтическое ощущение войны, а не трагическое. Было ощущение, похожее на то, какое я раньше испытывал, узнавая, что тот или другой из наших дерется или дрался в Испании.

Только тогда мне не повезло, я хотел, но не попал в Испанию, а здесь мне повезло, и я попал.

Я, конечно, уже и тогда не был таким несмышленышем, чтобы не представлять себе взаимосвязанности событий в Испании и на Халхин-Голе и того, что происходило на Западе, где Германия в эти дни воевала с Польшей. Логически, в уме, для меня и тогда существовали эти связи, но почувствовал их всем сердцем и всей шкурой я только тогда, когда сам окунулся в 1941 году в громадную трагедию общенародного бедствия.

Кстати сказать, в первый же день на фронте в 1941 году я вдруг и навсегда разлюбил некоторые стихи Киплинга, которые очень долго и очень упорно любил, любил еще на Халхин-Голе; Киплинг и после 41-го года не перестал для меня существовать как интересный поэт, многие стихи которого мне продолжают нравиться.

Но киплинговская военная романтика, все то, что, минуя существо стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь какое-либо отношение к той войне, которую я видел, и ко всему тому, что я испытал. Все это в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на

ломающийся мальчишеский бас.

А в 39-м, там, на Халхин-Голе, я еще любил все стихи Киплинга!

Пожалуй, именно на этом маленьком примере я могу самому себе яснее всего объяснить, что переменилось в моей душе по Дороге от 1939-го к 1941 году.

Лапин, Хацревин и Славин уехали. Мы простились с ними, не зная, когда увидимся снова.

Сейчас, много лет спустя, мне снова вспоминаются вес люди, с которыми мы были вместе там, на Халхин-Голе.

Вспоминается Ортенберг, к которому у меня уже тогда, на Халхин-Голе, пробивались робкие симпатии с примесью некоторой опаски и раздражения и которого я в годы большой войны полюбил как одного из самых близких своих друзей. Мучивший всех и мучившийся сам, тормошливый, непоседливый, бессонный, то отвратительно придирчивый, то ворчливо добрый, Ортенберг, каждые свободные полчаса ребячливо учившийся ездить на мотоциклетке, гонявшийся на ней вокруг наших юрт и то-тут, то там с грохотом падавший. Сначала доносились рев, гудение, потом треск - и тишина. Это значило, что полковой комиссар опять упал с мотоциклетки.

Вспоминаются и другие товарищи по редакции. Тогда на Халхин-Голе уцелели все - никого даже не поцарапало. Никого, кроме Ставского, не ранило и на финской войне, хотя половина была и на ней. А за эту войну почти все они погибли.

Погиб под Харьквом толстый Миша Бернштейн, всюду чувствовавший себя как дома, носивший на толстом брюхе сразу два фотоаппарата, почти физически лишенный чувства страха, обжора и примитивный хитрец, умевший найти место для того, чтобы выспаться даже в землянке, где стоял всего один стол со штабными документами и одна табуретка.

Погиб, тоже под Харьковом, Миша Розенфельд. Убит бандеровцами под Львовом Паша Трошкин, которого я видел на Халхин-Голе только мельком, по-моему, самый храбрый из всех наших фотокорреспондентов, хотя мне всегда казалось потом, когда я его наблюдал, что он физически боялся смерти ничуть не меньше меня, но только быстрее и решительнее всех нас преодолевал это чувство.

Погиб под Великими Луками Ставский.

Погибли под Киевом Борис Лапин и Захар Хацревин. Потом некоторые писатели попрекали этим Ортенберга, якобы задержавшего их в Киеве, не отозвавшего их оттуда вовремя, когда их было пора отозвать, и т. д. и т. п.

Это кажется мне совершенной неправдой, одной из тех

легенд, которые возникают, когда умирает очень хороший и дорогой человек и начинают говорить, что если бы он в тот вечер не попал бы туда-то или туда-то, или если бы врач приехал на пять минут раньше, или если бы... - словом, если бы не тысяча "если бы", то он непременно остался бы жив.

Конечно, в Киеве дело было не в том, что Лапина и Хацревина кто-то не отозвал или задержал, а в том, что они были - они то есть люди долга. И во время трагических боев за Киев, пока там дрались и пока оттуда отступала армия, в которую они были посланы, они не могли не оставаться в ней и не могли не уходить вместе с нею. Они были настолько решительны и бескомпромиссны, что, если бы у них оказался в планшетках журналистский материал, который необходимо было напечатать в газете а для этого нужно было самим доставить его в Москву, они бы пренебрегли поверхностным мнением о том, ловко это или неловко. Но в той обстановке, очевидно, у них не было и не могло быть такого материала. И, не чувствуя необходимости, а без этого не считая для себя возможным уехать, они не уехали. Так мне кажется.

Правда, все остальное - когда остатки армии уже погибали за Киевом, дерясь в окружении, - могло оказаться и трагической случайностью; Лапин и Хацревин, как и некоторые другие люди, могли выбраться из окружения, а могли и не выбраться. Говорят, что Хацревин заболел. У него вообще были тяжелые болезненные припадки. А Лапин не захотел его оставить и остался с ним.

Может быть, это одна из тех легенд, которые часто ходят вокруг гибели хороших людей, но она очень похожа на правду, Это было вполне в характере Лапина.

На Халхин-Голе мы первое время жили в одной юрте вчетвером: Славин, Лапин, Хацревин и я. Узкие железные койки стояли по кругу у войлочных стен. Посредине стоял стол, на котором писали, сидя на койках. Впрочем, иногда, когда особенно надоедали комары, залезали днем в раскаленную солнцем "эмку", закрывали все стекла, давили внутри всех комаров и потом писали, сидя в этом пекле. А вечерами устраивали в юрте небольшой костер из старых газет и выкуривали дымом комаров. Впрочем, вскоре их снова набиралась полная юрта.

Круглая дыра наверху юрты закрывалась четырехугольным войлоком, все четыре угла которого были привязаны снаружи крепкими веревками к канату, охватывавшему всю юрту примерно на середине ее высоты. Когда шли дожди и был сильный ветер, воровки лопались, войлок срывался, открывал наверху отверстие, и целые ушаты воды среди ночи опрокидывались на наши койки. Всем было мокро, но вылезать

наружу никому не хотелось. Начиналась торговля.

Захар Хацревин, в быту самый ленивый из всех нас четырех, сразу же начинал уговаривать меня выйти наружу и привязать войлок. Если большая часть дождя падала не на его сторону юрты, он убеждал меня довольно вяло; но если дождь сыпался сильней всего именно на его койку, он, тщательно закрывшись вторым одеялой и накинув на голову шинель, принимался за меня с максимальной для его лени энергией. Говорил он примерно следующее:

- Вы прелестный парень, Костя, мы все это знаем и ценим. Кроме того, вы моложе всех нас, и я надеюсь, что вы не станете отрицать этого. Кроме того, третьего дня я уже вылезал и привязывал вместе с вами этот проклятый войлок.

- Да, но вместе со мной, - возражал я.

- Да, вместе с вами. А теперь попробуйте справиться с этим войлоком один, без меня. Это будет вам даже интересно!

- Но почему? - упирался я. - Сегодня ваша очередь. Но он не отступал.

- Ну подумайте сами, какая необходимость вам во мне, в этом жалком интеллигенте с кривыми руками, которые абсолютно, совершенно ничего не умеют делать? Вы были токарем. Вы человек физического труда, вам это будет абсолютно легко и интересно, я вас уверяю.

Славин, накрывши голову, курил трубку, пуская дым из-под шинели. Лапин хихикал. Я в конце концов вылезал из-под одеяла, надевал шинель и сапоги.

Кстати о шинели. Первые три дня, как я приехал, мне так и не достали шинели по росту, и я ездил со Ставским не в шинели, а в своем московском штатском габардиновом плаще поверх обмундирования. Если прибавить к этому, что на голове у меня была каска, а на выглядывавшей из-под штатского плаща гимнастерке не было никаких знаков различия, потому что я не был аттестован, то не удивительно, что меня все эти три дня задерживали сразу же, как только я отходил на пять шагов от Ставского.

Ко времени, которое я описываю, эпоха плаща кончилась, он лежал в чемодане, и я ходил в шинели с чудовищно короткими рукавами и не сходившимися внизу полами.

Итак, я влезал в сапоги, надевал шинель и выскакивал на улицу. Навстречу летел отвратительный, мелкий, но сильный, как град, дождь. Я начинал, чертыхаясь, привязывать войлок. Войлок не подчинялся. Тогда совестливый Борис Лапин оказывал мне посильную помощь. Оказание помощи он начинал с того, что говорил мне:

- Костя, вы же знаете, что я ничего не вижу, поэтому дайте мне руками в руку конец веревки и покажите, куда его надо привязывать.

Я ему давал руками в руку конец веревки, и он начинал привязывать. Наконец, совершенно промокшие, мы возвращались и дрожа залезали под одеяла.

- Захар, в следующий раз пойдете вы, - довольно сурово говорил Лапин.

- Вы оба прелестные ребята. Вы, очевидно, прелестно завязали этот войлок. Я никогда в жизни не смог бы его так завязать - сонно говорил из-под одеяла пригревшийся Хацревин.

Ходили они оба со знаками различия интендантов второго ранга темно-зеленые петлицы с красными кантами, а на них по две шпалы и по маленькому золотому колесу, похожему на маховик печатной машины. Впрочем, колеса они с петлиц сняли, поэтому на фронте их несколько раз принимали за докторов и требовали участия в разных медицинских делах. Звание интендантов им, впрочем, как и всем без исключения писателям, не нравилось. И они были не прочь поиронизировать над собою по этому поводу.

Кстати, однажды Ортенберг после долгих и вполне штатских препирательств со Львом Исаевичем Славиным вдруг, рассвирепев и вспомнив, что он как-никак начальство, и притом военное, крикнул Славину:

- Товарищ интендант первого ранга, прошу мне не противоречить!

Мы все даже опешили от неожиданности.

Ортенберг после этого минут пятнадцать сохранял вполне официальный, строгий вид, но вечером, едучи куда-то со мной в машине, вдруг сам фыркнул, вспомнив об этом.

Хорошо помню Лапина и Хацревина на протяжении тех нескольких дней боев, которые я успел застать. Бои, как я уже писал, велись за взятие двух-трех последних сопок. Все было сосредоточено на пятачке, и поэтому мы сталкивались каждый день.

Хорошо помню, как Лапин и Хацревин появились в том батальоне, где мы были со Ставским, и как Лапин с повышенным интересом спрашивал, не произошло ли тут чего-нибудь, пока их не было. Ему постоянно сопутствовало чувство, что он чего-то не увидел и не успел и что это немедленно нужно исправить.

Помню их вытянутые лица, когда мы со Ставским забрались в танк, чтобы по кратчайшему пути пересечь обстреливаемый участок, а им уже не хватило места в танке, и они очень этим расстроились, а потом через несколько часов все же каким-то

кружным путем оказались там же, где мы. И Хацревин удовлетворенно хихикал и потирал свои вечно зябнущие длинные пальцы. Он всегда потирал их тем особенным движением, которым потирает доктор зимой, придя с улицы, прежде чем начать осмотр больного. Это была очень характерная привычка.

А методичный Лапин все время вынимал небольшую записную книжечку и, близоруко щурясь за очками, что-то записывал.

Потом, уже в Москве, когда остались позади все монгольские ветры, дожди и непогода, кто-то - уже не помню кто - шутя мне рассказывал, что, когда Лапин и Хацревин после нескольких месяцев халхин-гольской эпопеи сели в купе международного вагона, Захар потянул носом, поднял воротник пиджака и, схватившись за горло, сказал Лапину:

- Боря, по-моему, какой-то сумасшедший открыл окно в коридоре. Пожалуйста, пойдите закройте. Я чувствую, как с каждой секундой все больше простуживаюсь.

Может быть, это была только шутка, но очень похожая на правду.

Позднее, осенью 1940 года, когда в Европе уже второй год шла война, мы случайно оказались с Хацревиным вместе в большом пустом подмосковном доме отдыха, где, кроме меня с ним, в те дни, помнится, жил только один, теперь покойный, Аркадий Гайдар.

Сидя у теплой печки, но тем не менее зябко нахохлившись и привычным движением потирая свои вечно зябнущие руки, Захар вспоминал о Халхин-Голе.

- Прелестное время! Теперь, на расстоянии, мне кажется, что даже Ставский был очаровательным парнишкой. (Он очень не любил Ставского.) А полковой комиссар Ортенберг с его отвратительной привычкой каждый день выпускать газету, не считаясь даже с погодой! А японские окопы, в которых было столько прекрасной рисовой бумаги! Вы знаете, как я люблю эту бумагу, какое удовольствие она мне всегда доставляла! А помните толстого Экслера, который во время воздушной тревоги бегал в щель с двумя касками на тот случай, если одна из них будет повреждена? А эти очаровательные дожди! Вы помните, как я под этими дождями завязывал нашу юрту?

- Ну, завязывал-то, положим, я.

- Теперь, на расстоянии, мне кажется, что завязывали не вы, а я. Во всяком случае, дожди были очаровательные и странные: они шли абсолютно параллельно земле. Мне иногда хочется опять попасть под такой дождь. А наш старшина Узультуев! А песенка, которую мы с вами написали:

Как за горою, за Хамардабою,
Где в нас стреляли, милый, с тобою,
Позарастали стежки-дорожки,
Где мы гуляли после бомбежки,
Позарастали щели травою,
Где мы сидели, милый, с тобою.

А как полковой комиссар Ортенберг катался на мотоциклетке!..

Хацревин был болезненный, очень городской, очень воспитанный, с вкрадчивым голосом и неловкими руками человек. Но этот человек был готов ехать куда угодно: на край света, на войну завтра, послезавтра, сию минуту...

Возвращаюсь в Монголию. Очень отчетливо стоит в памяти одна ночь, по-моему, около 10 сентября. Уже десять или двенадцать дней в Европе шла война. Не помню, по какому поводу я заехал поздно вечером в Тамцаг-Булак и остановился в юрте какого-то отдела, где была мощная радиостанция. Хозяин предложил :

- Хотите, послушаем Европу?

Мы начали настраивать радио. Поймали сначала какую-то промежуточную станцию, потом не то Москву, не то Ленинград - передавали оперу. Потом забрались еще дальше.

И вдруг, за семь или восемь тысяч километров, я услышал то самое, что сейчас можно услышать только в трофейных немецких кинохрониках. Я услышал передачу из только что взятого немцами Кракова. В то время я еще не окончательно забыл немецкий язык, да и содержание передачи было такое, что я мог понять почти каждое слово. Немецкий диктор вел передачу откуда-то, должно быть с балкона где-то на центральной площади Кракова. Гремели оркестры, били барабаны, слышался грохот проезжающих танков, топот колонн. Немцы входили в Краков. Диктор кричал о том, какой это древний город, сколько в нем населения, на какой день войны он взят, какие части проходят. Все это прерывалось снова топотом, снова грохотом танков, снова оркестрами.

Перенесшись через восемь тысяч километров, эта далекая европейская война вдруг возникла во всей ее осязаемости здесь, в Азии, в этой юрте, на другом конце света, в пустыне, в штабном городке, где всего несколько дней назад затихла, неизвестно надолго ли, другая, здешняя война.

Война... Вот она влезла туда, вот она влезла сюда, вот она ползет и лезет из этого радио. В эти минуты я впервые с полной очевидностью почувствовал, что вот-вот мы будем воевать с немцами, что это непременно будет и будет скоро, и что вое это,

что там происходит, - лишь самое начало чего-то огромного и необъятно страшного. Именно не подумал, как не думал я об этом и раньше, а почувствовал.

Я не выдержал этого ощущения и попросил выключить радио. Снова наступила тишина. Я вышел из юрты. Кругом была черная, пахнущая овчиной, покоем степь. Потом где-то за несколько километров послышалось урчание самолетного мотора - Должно быть, собирался на вылет один из ночных разведчиков Эскадрильи, стоявшей недалеко от Тамцаг-Булака.

Потом в январе сорок пятого я попал в недавно освобожденный Краков и бродил по нему. И мне вспомнилась та монгольская ночь. Я стоял на одной из городских площадей, на той, где был магистрат, и мне подумалось, что, наверное, вот тут, с этого балкона, говорил тот немец, которого я слышал в 1939 году. Шел уже шестой год с тех пор, как я был в Тамцаг-Булаке, а война все еще продолжалась. И это была все та же самая одна война, которая шла тогда и все еще шла теперь, и еще неизвестно было, когда и где она может кончиться. Это сейчас задним числом, после того как в конце войны события развернулись так быстро, нам самим кажется, что уже тогда было ясно, что все кончится вот-вот. А на самом деле ведь даже еще в апреле, когда уже брали Берлин, все еще боязно было поверить в исполнение наших желаний - в конец войны. Ведь еще и тогда казалось, что она может продлиться еще где-нибудь в Шварцвальде, В Баварии...

В Монголии тянулись последние перед перемирием дни. Воздушные бои шли со все возрастающей, силой, а на линии фронта все было по-прежнему спокойно. Все ждали, что дальше: мирные переговоры или опять война. И в этом состоянии ожидания было неохота что-либо делать, хотя, впрочем, Ортенберг выколачивал из меня по стихотворению через день.

Больше всего в эти дни я ездил к танкистам. Между прочим, там произошла смешная история с моим револьвером. Как раз к окончанию военных действий я, с некоторым опозданием, но все же, к большому моему удовольствию, получил на складе пистолет системы "ТТ" и немедленно сунул его в кобуру.

Теперь, имея при себе оружие, я возвращался ночью с передовых, постоянно представляя себе, что мы натолкнемся на какую-нибудь группу из числа рассыпавшихся по степи японцев и не только наткнемся, но и непременно возьмем их в плен. В связи с этим я расстегивал кобуру и передвигал ее из-за спины поближе к животу, чтобы удобнее было выхватить пистолет. Ничего похожего не происходило, но пистолет все-таки заметно украшал мою жизнь.

И вот как-то, приехав к танкистам, к Михайлову, я увидел, как ординарец Михайлова и еще кто-то, расстелив плащ-палатку, чистили винтовку и два или три револьвера.

- Надо бы и мой почистить, - сказал я солидно.

- А вы дайте, - сказал Михайлов, - вам почистят.

Это предложение меня очень устраивало. Собственно, на него-то я и рассчитывал, ибо хотя слышал, что пистолеты надо чистить, но не знал и стеснялся спрашивать, как эта штука разбирается.

Я полез в кобуру, вынул пистолет и положил его на плащ-палатку. Михайлов поднял его двумя пальцами, посмотрел на него, потом на меня и спросил:

- Вот так вы его и возите?

- Да, - сказал я.

- Так, смазанный?

_ Да. А что? По-моему, он хорошо смазан.

Я был в полной уверенности, что это так и есть, ибо мне дали со склада пистолет, добротно смазанный чем-то густым и желтым, и я вытер у него только рукоятку, чтобы она не скользила в руке, а остальное так и оставил, полагая, что где-где, а на складе-то уж знают, чем и как нужно смазывать оружие.

- Так это же у вас заводская смазка, - сказал Михайлов, - ею же смазывают для хранения! Разве можно стрелять с такой смазкой! Надо непременно все это вытереть и смазать заново ружейным маслом.

Я был удручен и унижен. Значит, напрасно я хватался за рукоятку, напрасно расстегивал кобуру и передвигал ее со спины на брюхо - все напрасно?

Наш лагерь сильно опустел. Уехали Розенфельд и Экслер, уехали Лапин, Хацревин и Славин, улетел шумный Миша Бернштейн. Ставский жил на Хамардабе. Я и Кружков, единственные оставшиеся корреспонденты, ездили на передовые с утра, а к вечеру обычно возвращались. Около госпиталя помещалась юрта Монценкоопа, где монгольский кооператор в ватном халате и сапогах продавал несложный ассортимент товаров, главным образом папиросы "Борцы" и сгущенное молоко. Продавалось все это на монгольские деньги, на тугрики. Тугрики у нас были, но девать их там, в степи, было вовсе некуда и тратить не на что.

Как-то я купил там, в Монценкоопе, продававшееся в больших красивых коробках китайское печенье. Печенье это, может быть очень вкусное на любителя, мне показалось странным. Состояло оно из сала, смешанного с мукой и сахаром. Все это было скатано в большие шары и покрыто сверху яркими фиолетовыми, зелеными и желтыми разводами.

По ночам мы втроем - Кружков, Ортенберг и я - пили чай со сгущенным молоком. Кипятили чай прямо в кружках на железной печке и добавляли туда треть сгущенного молока. Получалась сладкая и дымная горячая бурда, которую тем не менее приятно было пить.

Ортенберг, когда заставал нас с Кружковым уже за чаепитием, начинал кричать, что, наверное, мы спутали кружки и взяли его кружку и что ему придется пить из наших, а он не собирается, потому что у него кружка чистая, а у нас грязные.

Кружки - все одинаково грязные, то есть не грязные, а темные от постоянных заварок, - были абсолютно похожи одна на другую, но Ортенберг искренне считал, что именно его кружка самая чистая.

Если мы днем не уезжали, то обедать ходили за километр в госпиталь. Там под маленьким навесом, за длинным столом ели похлебку с огромным количеством баранины. В степи свирепствовали комары. Для того чтобы хоть как-то поесть, садились в шинелях, подняв воротники, надев на руки перчатки, нахлобучив пилотки на лоб, а с двух сторон тарелки поставив в двух подсвечниках специальные японские, кажется с Формозы, зеленые тлеющие спиральки, которые, пока они тлели, хоть немножко отгоняли комаров. Спиралек этих мы набрали великое множество в японских окопах. Это был наш главный и очень радовавший нас трофей.

Газета выходила, заполняясь моими длиннейшими балладами, статьями Кружкова и не пошедшими раньше и находившимися в загоне очерками наших уже уехавших собратьев. Ортенберг, по-прежнему по целым дням пропадавший в войсках, среди ночи засыпал над газетными листами, потом вдруг вскакивал, открывал глаза и сразу, без паузы кричал:

- Певзнер!

Через минуту появлялся неизменно пунктуальный секретарь редакции маленький чернявый Миша Певзнер.

Вечно не высыпавшегося Ортенберга за эту минутную паузу уже снова начинало клонить ко сну.

- Слушаю вас, товарищ полковой комиссар.

- Что вы пришли?

- Вы меня вызывали?

- Зачем я вас вызывал?

- Не знаю, товарищ полковой комиссар.

- Идите. Проходило несколько минут. Ортенберг мучительно думал:

зачем же он звал Певзнера, и затем обязательно или вспоминал, или придумывал, зачем бы его вызвать, и снова по

степи разносилось:

- Певзнер!

В крайней юрте постукивала на машинке машинистка. Она была единственная женщина в нашем лагере и занимала целую юрту. Была она очень хорошая, очень тихая и не очень красивая женщина. Когда я приехал, старожилы рассказывали легенду, как Ортенберг в заботах о том, чтобы у него в редакции комар носу не подточил, выбирал для нашей "Героической красноармейской" машинистку. Ему сказали, что он может взять для газеты любую машинистку из семи или восьми находившихся в то время в распоряжении политотдела. Он вызвал их всех, долго задавал им всякие несущественные анкетные вопросы, а сам тем временем исподволь выбирал, какая понекрасивее. Наконец выбрал и, счастливый, увез ее в редакцию. К сожалению она еще и не очень быстро печатала.

Четырнадцатого или пятнадцатого сентября был последний большой воздушный бой. Только в поле нашего зрения в разных местах упало, по крайней мере, полтора десятка самолетов, а всего, кажется, за этот день мы сбили их не то тридцать, не то сорок.

На следующий день с утра мы помчались на Хамардабу. Были получены сведения, что сегодня в нейтральной зоне начинаются переговоры с японцами. Хотя лишних людей не брали, но мне удалось присоединиться к Ортенбергу и Ставскому, и часа через полтора или два мы наконец доехали до передовых, замыкая колонну из шести или семи машин.

Место будущих переговоров представляло собою гряду невысоких песчаных холмов с узкими лощинами между ними. В одной из этих лощин, прилепясь сбоку к подножию холма, стояло, вернее, почти висело одинокое кривое дерево, первое дерево, которое я увидел здесь.

Мы вышли из машины. На основании всего предыдущего не было причин особенно доверять японцам. Позади нас, замаскированные ветками, стояли несколько танков. Пулеметы тоже были наготове.

Полковник Потапов, заместитель Жукова, согласно предварительным переговорам по радио, должен был в этот день встретиться с японцами в нейтральной зоне, между нашей колючей проволокой и их окопами, для того чтобы договориться о месте ведения дальнейших переговоров.

Впоследствии Потапов командовал 5-й армией под Киевом и, тяжело раненный, попал в плен к немцам. А дивизионный комиссар Никишев, который был членом Военного совета нашей армейской группы на Халхин-Голе, так же, под Киевом,

застрелился.

Потапов был худощавый, высокий, чуть-чуть резковатый, но при этом подтянутый и в чем-то самом главном безукоризненно корректный человек, то, что, называется "военная косточка". Этот день был для него последним его полковничьим днем. В ходе переговоров выяснилось, что японцы намерены направить завтра в качестве главы своей комиссии по переговорам генерал-майора. Жуков, не желая заменять Потапова кем-то другим и в то же время не считая возможным, чтобы наш представитель был в меньшем звании, чем японец, запросил Москву, и там присвоили Потапову очередное звание комбрига, в котором он на следующий день и явился на переговоры.

Мы, человек десять или двенадцать, перевалили через сопочку, спустились по ее откосу и подошли к нашим проволочным заграждениям. Впереди была ничья земля и японцы. Позади нас были молчаливые желтые холмы, за грядой которых мы знали это - все было готово для того, чтобы выручить нас на случай провокации.

Прошло несколько минут ожидания. Японцев не было. Потом на гребне других холмов, метрах в трехстах или четырехстах, появились машины; оттуда вышли японцы и быстро пошли навстречу нашим. Когда они прошли три четверти расстояния, Потапов и еще двое пошли навстречу им. Нам было велено остаться, и мы остались около прохода в колючей проволоке, на несколько шагов выйдя вперед за нее.

Встреча произошла шагах в тридцати от нас. Японцы отсалютовали саблями, наши отдали честь. Произошел короткий разговор. Японцы повернулись и пошли к своим машинам, а наши тоже повернулись и пошли назад.

Как выяснилось, переговоры были назначены на завтра; место было выбрано здесь же поблизости, на маленьком плато, в нейтральной зоне, в километре от наших позиций и на таком же расстоянии от японских. Там договорились поставить три большие палатки; одну для нашей делегации, другую для японской и третью, центральную, для заседаний. Устройство этой центральной палатки брали на себя японцы.

Число членов делегаций с обеих сторон было определено,, кажется, по пять человек. Ставский устроился в состав делегации в качестве писаря, что вызвало у всех в штабе группы веселое оживление. Но он непременно хотел присутствовать при всех переговорах, а другой вакансии не было, и Ставский вечером срочно разыскивал четыре старшинских треугольничка вместо своих шпал.

Мне было обещано, что я смогу находиться в этой

нейтральной зоне в нашей палатке. Насчет присутствия в палатке для переговоров сказали, что об этом не может быть а, речи.

Но к этому времени во мне уже начинала пробиваться жилка военного корреспондента, и я решил, что главное - забраться завтра в нейтральную зону, в нашу палатку, а там будет видно!

Вернулись к себе в Баин-Бурт поздно ночью, а на рассвете выехали обратно на переговоры.

Жалею, что ничего не записывал тогда. Три дня переговоров с японцами, на которых мне тогда пришлось присутствовать изобиловали многими любопытными, а подчас и значительными подробностями. Не хочется сейчас придумывать, пользуясь памятью, как канвой, а поэтому - только о том разрозненном, что действительно помню.

Вторая половина сентября в Монголии в тот год была уже по-зимнему холодной и ветреной. Ехали мы с Ортепбергом и Кружковым издалека и рано и, когда добрались до нейтральной полосы, отчаянно прозябли. Вылезли из "эмочки" на холод, дрожа в своих шинелях. Ветер гнул траву, высоко над горизонтом стояло по-зимнему холодное и неяркое солнце; вдали виднелись желто-серые отроги Хингана, а до них тянулась гряда больших и малых желтых холмов. Невдалеке за ближними из этих холмов что-то курилось, может быть, стояли походные японские кухни, а может быть, жгли трупы убитых.

В лощине, где вчера встретились парламентеры, уже стояли три палатки: ближняя - наша, к ней был проведен телефон из штаба, потом, метров за сто, центральная - большая шелковая палатка, похожая по форме на что-то очень знакомое - не то на памятные по детским книжкам рисунки княжеских походных шатров, не то на шатры из половецких плясок в "Князе Игоре", Еще дальше стояла третья - японская - палатка.

Участники переговоров, наши и монголы, все наутюженные, начищенные, уже вылезли из машин и небольшой группкой стояли возле нашей палатки. Японцы целой толпой теснились вдалеке около своей палатки. Нас было явно меньше. Как всегда в таких случаях, у нас считали хорошим тоном, чтобы было поменьше корреспондентов, газетчиков. В результате нас оказалось всего трое, не считая Ставского, который стоял поодаль в солдатской шинели с четырьмя треугольничками старшины: он уже официально как писарь входил в делегацию и не соприкасался с нами.

Сначала произошла небольшая заминка. Обе стороны, несмотря на все предварительные строжайшие и точнейшие инструкции, все-таки не совсем точно знали, что им делать, в какой именно момент шагнуть вперед и когда приложить руку к

фуражке.

После этой заминки все вдруг разом двинулись. Мы, не теряя времени, пошли следом.

Навстречу нам шли японцы. Они были почти все в отличавших северную Квантунскую армию зимних шинелях с большими лохматыми собачьими воротниками. Шинели были перепоясаны портупеями с мечами. Впереди шел генерал, за ним два или три полковника и несколько младших офицеров. Их сопровождала целая толпа журналистов, фотографов и кинооператоров.

Обе группы, наша и их, встретились перед центральной палаткой. Все обменялись приветствиями и откозыряли. Японские фотокорреспонденты и кинооператоры засуетились: они приседали, забегали вперед, слева и справа, беспрерывно щелкая затворами и снимая всех нас вместе и порознь.

А у меня, как на грех, отлетели именно в эту минуту сразу две пуговицы на шинели. Я стоял, как скучающий приказчик, сложив руки на животе, маскируя отсутствие двух пуговиц и придерживая разлетавшиеся на ветру полы шинели. Все наши были до того начищены и наглажены, что я не сомневался: заметь кто-нибудь из начальства отсутствие у меня этих двух проклятых пуговиц, я был бы немедленно изгнан с территории переговоров.

Через минуту или две этого стояния японские солдаты отогнули шелковый полог, и члены делегации вошли в палатку. Там внутри стоял длинный и довольно широкий стол и два десятка стульев. С обеих сторон, посередине, стояло по мягкому креслу для руководителей делегаций. Остальные расселись по бокам, наши - с одной стороны стола, японцы - с другой.

За три дня переговоров я постепенно прочно втерся в эту палатку. Ортенберг, который сразу же устроился там в первый день, все время придумывал мне какие-то поручения, чтобы я ему приносил или относил какие-то мифические материалы, а на самом деле - пустую папку, в которой ничего не было.

В первый вечер после переговоров комбриг Потапов ворчал и даже грозился пожаловаться на Ортенберга Жукову. Но, как говорится, "стерпится слюбится", и на второй и третий день я уже сидел в палатке, как гвоздь, и меня было трудно выковырнуть оттуда.

Увы! В первый же час переговоров выяснилось, что наши переводчики годятся только на самый худой конец. Основным переводчиком на переговорах стал японский майор со штабными аксельбантами: маленький, юркий, хихикающий, скалящий зубы, словом, совершенно похожий на тех японцев, каких любили изображать в кино наши актеры. Он говорил по-русски с

сильнейшим акцентом и в то же время с идеальным литературным знанием русского языка. При переводе и еще больше в вольных беседах в перерывах между переговорами он щеголял идиомами и русскими поговорками: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней", "Тише едешь, дальше будешь" и т. д. и т. п., причем все это очень забавно звучало в его устах. Улыбался он беспрестанно.

Между прочим, любопытная подробность: в первый же момент, когда я увидел японцев, я заметил, что офицеры при встрече с нами почти все улыбались подчеркнуто и напряженно. А стоявшие позади них солдаты вовсе не улыбались, их лица были спокойны и серьезны. Тогда это показалось мне результатом дисциплины, повиновения. Потом, шесть лет спустя, уже в Японии, я понял, и, кажется, правильно, что пресловутая, не сходящая с губ японская улыбка и быстрая мимика, которые, пока не привыкнешь к ним, кажутся ужимками, - все это отнюдь не общенародная привычка или обыкновение. Это скорей результат современной японской цивилизации в наиболее поверхностном ее выражении, признак воспитания, принадлежности к определенным привилегированным кругам. Что же касается японских крестьян, то я, немного поживя в японской деревне, могу утверждать, что трудно представить себе более естественное, простое, без малейших элементов фальши человеческое поведение, чем у них. Но это между прочим.

А переговоры тем временем шли. Основные вопросы были, разумеется, уже решены при подписании перемирия в Москве, хотя на всякий случай наши и монгольские войска здесь, на Халхин-Голе, продолжали оставаться в повышенной боевой готовности.

Здесь, на месте, переговоры сводились главным образом к вопросам порядка и времени демаркации границы, на которую вышли наши и монгольские войска, к вопросу о том, на какое расстояние к ней можно и нельзя приближаться, и, наконец, к вопросу о взаимной передаче пленных и выдаче трупов.

Этот последний вопрос стал камнем преткновения на переговорах.

О формальностях, связанных с временной демаркацией границы, и о взаимной передаче пленных договорились быстро. Что же касается выдачи трупов, то тут переговоры затянулись надолго.

Так как все бои происходили на территории Монголии и почти все убитые с обеих сторон были убиты на монгольской территории, то теперь, когда мы повсюду вышли на линию границы, японцы должны были предъявить нам, согласно нашему

заявлению, всего-навсего не то сорок два, не то пятьдесят два трупа наших и монгольских бойцов, убитых за пределами монгольской территории в тот момент, когда мы замыкали кольцо вокруг окруженных японских войск. А японских трупов, зарытых на монгольской территории, насчитывалось, по нашим соображениям, пятнадцать - двадцать тысяч.

Здесь придется сделать оговорку. Общее число японцев, погибших за все время боев, было еще больше. Но доставка на родину тела убитого, а вернее, его сожженного праха, - для японцев ритуал, освященный религией и традициями. Поэтому до самого последнего момента, пока не замкнулось наглухо наше кольцо, японцы вывозили и вытаскивали в тыл тела своих убитых и стали зарывать их на месте только в последние пять-шесть дней боев, когда были совершенно окружены нами. Попало их в это кольцо около двадцати тысяч. Сдалось нам около двухсот человек. Из этих цифр нетрудно догадаться о степени ожесточенности боев и об упорстве сопротивления японцев.

Как выяснилось впоследствии, дерясь и погибая в этом окружении, японцы тем не менее хоронили своих, ведя специальные карты, а точнее, рисованные от руки планы, на которых они: помечали, где, в каком месте, на какой глубине и сколько похоронено трупов.

То, чему я стал свидетелем, говорит мне, что, очевидно, какое-то количество офицеров и унтер-офицеров еще в дни боев по ночам, в одиночку, пробиралось к своим из района окружения через расположение наших войск, имея при себе эти планы.

Забегая вперед, скажу, что потом, когда разрывали эти могилы, я видел японского поручика, бледного, видимо еще страдающего от раны, с забинтованной и подвязанной к шее рукой и с планом в руке. Это было на той самой Ремизовской сопке, штурм которой я наблюдал. Он стоял и следил за работой своих солдат, проверяя по плану, где зарыты трупы. По некоторым признакам я заметил, что он сверяется не только с планом, но и с собственной памятью. Он смотрел в разные стороны, отмечал какие-то подробности, потом опять заглядывал в план. Я спросил его, был ли он здесь. Он сказал, что да, он был здесь. Я спросил его, как давно. Он назвал день, в который мы брали эту сопку, день, в который я тоже был здесь.

Возвращаюсь к переговорам. Японцы оказались в затруднении. Они, конечно, знали примерную общую цифру своих убитых, оставшихся на монгольской территории; одна часть этих убитых была похоронена ими самими, и это было нанесено на карты и планы. Другая часть была похоронена тоже ими самими, но планов не имелось: люди с планами не дошли -

погибли. И, наконец, очень много японцев, погибших в самые последние дни, было зарыто уже после боев нашими похоронными командами.

События на Халхин-Голе, кончившиеся разгромом 6-й японской армейской группы, были небывалым позором для командования Квантунской армии, хотя сама по себе японская пехота, надо отдать ей должное, дралась в этих боях выше всяких похвал. Японское командование, по ходу дела представлявшее лживые то победоносные, то уклончивые - реляции, боялось того, что в печать и общество просочатся сведения об истинных размерах неудач и потерь. Эти сведения, кстати сказать, все-таки просочились потом, хотя и в неполном виде. Где-то, кажется в "Асахи", было напечатано, что японцы потеряли на Халхин-Голе не то пятнадцать, не то восемнадцать тысяч убитыми. Но паже и эта сильно преуменьшенная цифра произвела тогда в Японии сенсацию.

И вот, прося о передаче им трупов солдат, представители Квантунской армии, с одной стороны, в силу традиций, хотели, чтобы им было передано возможно больше количество трупов, а с другой стороны, выставляя свои требования, они не хотели указывать, какое количество их солдат и офицеров было в действительности убито. Тогда бы их заявка фигурировала как официальный документ. По этому поводу и шли длинные и хитроумные переговоры.

С советско-монгольской стороны тоже были некоторые затруднения. Нам и не хотелось заставлять своих бойцов выкапывать японские трупы и в то же время не хотелось пускать на монгольскую территорию для раскопок японские похоронные команды. Войска стояли в боевой готовности, район был укреплен, и предоставить японцам возможность осматривать его нам вовсе не хотелось.

Так возникли первые препирательства. Наконец мы согласились на то, чтобы японцы вырывали трупы своими силами. Тогда они предъявили карты, где были указаны погребения буквально во всех сколько-нибудь важных с военной точки зрения пунктах нашего расположения. Среди этих сорока - пятидесяти пунктов одни соответствовали действительности, другие могли соответствовать, а третьи были абсурдными.

Начались новые препирательства. Наконец договорились о том, что японцам будет разрешено выкопать трупы в десяти основных пунктах. При этом мы затребовали от них цифру, сколько всего их солдат погребено на нашей территории. Японцы заявили, что, по их подсчетам, на монгольской территории осталось три тысячи трупов, но так как мы ограничиваем

возможность раскопок только десятью пунктами, то такого количества трупов они вырыть не надеются.

Затем пошли переговоры о составе команд. Выяснилось, что японцы хотят послать десять команд по сто человек в каждой. Японцы попросили, чтобы из уважения к умершим, которых будут откапывать их товарищи, мы бы дали возможность солдатам, которые будут работать, иметь при себе тесаки.

Мы согласились.

Тогда японцы попросили, чтобы их офицеры, которые будут руководить работами, могли иметь при себе огнестрельное оружие, а затем и позондировали почву, не могут ли и солдаты иметь при себе карабины. Потапов разозлился и спросил: не вхо-Дит ли в церемониал их военных почестей стрельба из пулеметов, не желают ли они прихватить с собой и пулеметы?

Вот тут-то, насколько мне помнится, майор-переводчик и произнес русскую поговорку: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней", - прикрыв этой иронией отступление.

В конце концов договорились: у солдат будут тесаки, а у офицеров мечи.

Новый спор возник о том, сколько же дней нужно десяти командам по сто человек, чтобы вырыть три тысячи трупов. Опять началась торговля. Японцы назвали не то двадцать, не то пятнадцать дней. Наши давали два дня, потом три, наконец согласились на пяти. Наши ссылались на то, что, исходя из сообщенной самими японцами цифры, каждый из тысячи их солдат должен за пять дней вырыть всего три трупа. Японцы в ответ говорили о трудностях поисков, о тяжелом грунте и о чувствах солдат, которые будут вырывать из земли трупы своих товарищей и должны делать это осторожно, чтобы не задеть их тела лопатами и кирками.

Никогда в моем присутствии столько на говорили о трупах: с утра до вечера склонялось слово "трупы" - "трупы", "на трупах", "при трупах". "При трупах" употреблялось главным образом в смысле оружия. Японцы настаивали на том, что если при трупах будет найдено оружие, то это оружие они имеют право взять с собой. Наши возражали и говорили, что все оружие, которое осталось на территории Монголии, считается трофейным. Наконец, кажется, договорились на том, что все найденное холодное оружие заберут с собой японцы, а все огнестрельное останется у нас.

Дальше пошел разговор о документах, планшетах, полевых сумках и т. д. Он тянулся нескончаемо, пока не договорились, что увезено будет только то, что окажется в карманах обмундирования; все планшеты, полевые сумки и прочее,

найденное при раскопках, останется у нас.

К концу третьих суток осатанели все - и наши и японцы. Кончили переговоры, по-моему, на четвертые сутки, днем. Потом был маленький перерыв, а вечером в честь окончания переговоров наши дали ужин японцам в той же самой палатке, где мы три дня беспрерывно говорили о трупах.

Стол был заставлен закусками, икрой, водкой и коньяком. Прислуживали мобилизованные для этой цели три самые миловидные девушки из военторга.

Пили из пиал. Наливали их полными. Сидевший напротив меня майор-переводчик пытался передернуть и вообще сопротивлялся, но ему сказали, что, по русским обычаям, если девушка наливает полный бокал или чашку, то не выпить - значит оскорбить ее, выразив сомнение в ее нравственности. Не помню, кто так находчиво придумал этот старинный русский обычай, во на майора, уже находившегося под легким градусом, это подействовало.

- Да, да, я слышал что-то подобное, - подтвердил он, не то не видя другого выхода из положения, не то не желая признаться, что он не знает чего-то, связанного с Россией и русскими традициями.

Выпив эту пиалу залпом, дальше он стал пить поистине беззаветно. К нему, впрочем, присоединились и остальные. Даже хмурый штабной майор, молодой красивый японец, все переговоры сидевший на самом конце стола впритык, ближе всех остальных к нашей делегации и за трое суток не проронивший ни слова, к концу вечера неожиданно заговорил на довольно приличном русском языке, пытался ухаживать за официанткой и даже затянуть какую-то песню.

Руководивший делегацией японский генерал-майор встал, картинно приоткрыл полог палатки и, глядя на небо, на котором сияла полная луна, витиевато сказал, что сегодняшняя луна сияет, как наше приятное собрание, и, как оно, уже клонится к закату, и он просит извинения у высокого русского командования, ибо он должен ехать к своему высокому японскому командованию.

В просторечии это означало: "Господа офицеры, пошли, пока не поздно, а то, я вижу, у вас развязываются языки".

Вслед за генералом кое-как встали и остальные члены делегации: ужин был закончен.

На следующий день был ответный ужин, который давали японцы, но туда я уже не попал.

На вторые сутки после окончания мирных переговоров началась процедура передачи трупов. Было сделано десять

проходов в колючей проволоке и организовано десять маршрутов с махальщиками на поворотах. На всякий случай вдоль маршрутов выставили побольше пулеметов во всех удобных, а иногда и неудобных местах.

Десять колонн японских машин с белыми флагами в один и тот же час двинулись через наше расположение. Раскопки продолжались сначала пять, потом три дополнительных дня, о которых попросили японцы, и еще два дня, которые мы добавили сами, - в общем всего десять дней. Если не ошибаюсь, японцы выкопали восемь с лишним тысяч трупов и могли бы копать еще и еще. Теперь мы бы им это охотно разрешили, имея на то особые причины.

Действовавшая на Халхин-Голе 6-я армейская группа генерала Комацубары была полностью уничтожена в боях, и тысячу человек, предназначенных для рытья трупов, японцам пришлось взять из состава тех двух или трех новых японских дивизий, которые к этому времени подтянулись к монгольской границе.

Говорили даже, что поначалу японцы специально взяли этих людей из разных дивизий с целью возбудить у новичков гнев и жажду мщения за погибших товарищей. Получилось же совершенно обратное.

В дни раскопок, как назло японцам, вдруг вновь установилась сухая и по-летнему жаркая погода. Трупы были похоронены уже давно. Как только вскрывали какое-нибудь место погребения, вокруг распространялся тяжкий смертный смрад. По мере того как трупы наваливали в грузовики, а солнце поднималось к зениту, смрад все усиливался, и к вечеру, когда грузовики, наполненные трупами, уезжали, становилось просто невыносимо дышать.

Сначала японские солдаты, перед тем как, согласно отмеченному на плане крестику, начать раскапывать могилу, становились в строй в положении "смирно", снимали свои каскетки, опускали их до земли, кланялись, потом надевали их и осторожно принимались за работу для того, чтобы, копая, не задеть тела погибших. Так было в первый день.

Но уже на третий или на четвертый день картина переменилась. Трупов было такое множество, смрад стоял такой страшный, солнце палило так немилосердно, что солдатам уже ничто не могло помочь, даже надетые на рот и нос просмоленные черные повязки. Солдаты знали теперь только одно: как бы поскорей развязаться с тем или другим погребением и закончить работу, назначенную им на сегодняшний день.

Вместе с лопатами теперь в ход пошли железные крюки,

которыми подцепляли трупы. Лопатами рыли теперь уже вовсю, с маху, кроша землю и тела. Крюками поддевали, как дрова, и швыряли в машины полусгнившие лохмотья человеческих тел.

Картина эта была поистине чудовищной в своей бесконечности. Сделавшись тягостно-привычной, она все больше утрачивала свою первоначальную связь с уважением к останкам погибших товарищей. Теперь это была просто нескончаемая черная, страшная работа гробокопателей, что не замедлило сказаться на японских солдатах, несмотря на всю их дисциплину. Согласно полученным нами сведениям, солдаты похоронных команд были деморализованы. Во всех дивизиях пошли разговоры о том, какое громадное количество трупов похоронено там, в Монголии, и какое, значит, поражение понесли там японские войска.

Сначала японцы попробовали бороться с этим, прекратив посылку солдат из разных дивизий и назначив во все команды солдат из одной дивизии. Потом и это не помогло - слухи продолжали расходиться, и, несмотря на желание японцев выкопать как можно больше трупов, на десятый день они сами прекратили работы, вопреки нашей готовности разрешить их продолжение.

Так и стоит перед глазами эта картина: жаркий осенний день, даже не жара, а какой-то острый сухой зной. Легкий ветерок колеблет уже засохшую, полужелтую траву. В лощине стоят желто-зеленые японские грузовики с открытыми бортами, и на них навалено что-то черное и зеленое, на что страшно взглянуть и что еще страшнее представить себе, закрыв глаза.

На скате холмика, над лощиной, где зияет разрытая земля и в этой земле видны какие-то непонятные куски и пятна, надо всем этим, на скате, сидят и отдыхают несколько десятков японских солдат. Их каскетки у одних сдвинуты на затылок, у других положены рядом; смоляные повязки сдвинуты со рта и оставлены только на носу; солдаты жуют связки сушеной рыбешки и мелкие японские галеты. Поодаль сидит офицер. Он не ест и не снимает повязку, он развернул на планшетке план погребения и что-то отмечает на нем. Так и вижу все это перед собой, как будто это было вчера.

Итак, на десятые сутки с мертвыми было покончено. Осталась последняя процедура - с живыми - передача пленных.

Но сначала, чтобы не забыть, - один характерный эпизод: к этому времени мы получили странное сообщение, что командующий Квантунской армией (то есть, по существу, всем маньчжурским фронтом) генерал Уэда в связи с событиями ьа Халхин-Голе смещен с должности, а непосредственно

командовавший уничтоженной на Халхин-Голе 6-й армейской группой генерал Комацубара получил орден, дай бог памяти, не то бронзового орла, не то черного ястреба. Сообщение поистине загадочное, если не учесть некоторых особенностей психологии тогдашней японской правящей клики.

Генерал Комацубара на следующий день после того, как кольцо наших войск вокруг его частей замкнулось, вылетел из этого кольца в тыл, в Маньчжурию. Формально, как показывали пленные офицеры, для организации отпора нашему дальнейшему продвижению в глубь Маньчжурии, а фактически, может быть, и просто для спасения своей особы. Впрочем, дело не в этом.

Когда генерал Комацубара вылетел из окружения, у японцев, никак не ожидавших такого быстрого разгрома на Халхин-Голе, в эти дни ни в районе боев, ни на подходе не было никаких серьезных резервов. И наши и монгольские войска наличными силами, будь на то приказ, могли бы в два-три дня пройти сто километров до самого Хайлара и, чего доброго, занять его без особого сопротивления.

Но войска наши, наоборот, получили строгий приказ, выйдя на линию государственной границы Монголии, не пересекать ее, остановиться и немедленно начать окапываться и возводить проволочные заграждения.

Комацубара, после своего разгрома на Халхин-Голе почти ничего не имея под рукой, собрал все, что он мог наспех наскрести: пару железнодорожных батальонов, немножко баргутской кавалерии, остатки какого-то вышедшего из окружения полка, сводный полицейский полк, - и с этими войсками занял реальное соотношение сил в те дни, это была оборона в кавычках. Но мы, не имея приказания двигаться, не двигались и только продолжали возводить полевые укрепления на государственной границе. Комацубара со своей полицией и железнодорожниками тоже, естественно, не двигался, стоял на месте и доносил, что он "сдерживает натиск советских войск и не пускает их на маньчжурскую территорию". Так он простоял с неделю и дождался подхода спешивших из других пунктов Маньчжурии японских дивизий.

Очевидно, эпизод этой "успешной обороны" маньчжурской границы со столь ничтожными силами против во много крат превосходящего противника выглядел в Токио столь героично, что бросивший в окружении на гибель две свои дивизии незадачливый генерал, которому, в сущности, по японским понятиям о чести, следовало сделать себе харакири, вместо этого вдруг получил орден.

Трудно судить, в какой мере это награждение было

произведено сознательно, с целью поддержать версию о японских успехах на Халхин-Голе, и в какой мере стало результатом дезинформации Комацубарой высшего начальства. Наверное, имело место и то и другое. Очевидно, японская военщина по самой своей психологии не могла представить себе, чтобы чьи-то войска, имея перед собой открытый фронт, не перешли бы границу и не устремились бы на чужую территорию. А если они не могли себе этого представить, то, следовательно, должны были предположить, что кто-то задержал советско-монгольские войска; задержать же их в тот момент мог только генерал Комацубара со своими полицейскими и железнодорожниками.

Так выглядит этот необъяснимый на первый взгляд эпизод военной карьеры командующего японскими войсками на Халхин-Голе.

Возвращаюсь к рассказу.

Передача пленных происходила 2 октября в двух пунктах: передача здоровых, а вернее, ходячих, пленных была назначена там же, где раньше велись переговоры, в центре, чуть ближе к правому флангу наших позиций. А передача тяжелораненых и не могущих двигаться назначена была ближе к нашему левому флангу, километра за полтора перед нашими позициями, на поле, которое могло служить аэродромом. Туда должны были прилететь наши самолеты, груженные японскими пленными, и их самолеты, груженные нашими пленными.

Мы с Ортенбергом приехали к месту передачи ходячих пленных рано, за час до начала процедуры. По дороге мы обогнали человек двести, маршировавших под конвоем, японцев, половина из них - легкораненые - шли с повязками, человек тридцать ехали на грузовиках.

Едва мы прибыли на место, как выяснилось, что кто-то чего-то не предусмотрел, и в результате все представители - и наши и японские оказались здесь. А туда, где будут передавать тяжелораненых, не послано ни одного полномочного представителя.

Между тем условленное время передачи приближалось.

Чтобы понять последующее, надо представить себе схему расположения наших и японских позиций. Наши, шедшие по границе позиции представляли собой в этом месте вогнутую в нашу сторону дугу. Таким образом, для того, чтобы проехать с правого фланга на левый по нашим дорогам, шедшим за нашими позициями, надо было делать объезд по всей этой дуге. Если же сделать тот же путь - с фланга на фланг - через японские позиции, можно было ехать по хорде этой окружности, то есть по значительно более короткой дороге.

Наш представитель - майор, которого теперь собирались отправить вместе с переводчиком туда, на левый фланг, - поехав в объезд дорогами, шедшими позади наших позиций, явно опоздал бы к началу передачи. Это сорвало бы намеченный ритуал, а мы хотели в точности придерживаться его.

Тогда тут же, на месте, неожиданно быстро договорились с японцами, и их представитель, полковник, взялся ехать вместе с нашими по прямой через японское расположение. Ортенберг, который в таких случаях мгновенно ориентировался, буквально впихнул меня в "эмку", рядом с переводчиком, прошептав мне в ухо, чтобы я не валял дурака, пользовался случаем и ехал:

Там будет у тебя настоящий материал! Гораздо интереснее, чем околачиваться тут!

Я еще не успел ничего сообразить, как шофер уже крутанул баранку, и мы поехали вслед за желтым японским "шевроле", нырявшим по дороге впереди нас. Поехали мы впопыхах, все вооруженные. Кроме того, сзади на сиденье лежала винтовка шофера, а в ногах у нас было почему-то навалом насыпано Десятка полтора гранат. Переводчик высунул через окно палку с белым платком. Это, согласно предварительной инструкции, Должно было изображать белый парламентерский флаг.

Не успели мы проехать за японцами и полутора километров, как молчаливый длинный майор, ехавший на переднем сиденье, вдруг повернулся и взъелся на переводчика:

- Чего вы высунули эту тряпку? Что мы, сдаваться, что ли, едем? Уберите!

Переводчик сказал:

- Инструкция.

- Мало ли что инструкция. Мы не сдаваться едем. Мы победители. Нечего нам с этой тряпкой ездить. Уберите, говорю я вам!

Переводчик сказал:

- Но они же тогда могут в нас стрелять.

- Пусть попробуют! - сказал решительный майор, и палка с платком была убрана.

Нельзя сказать, чтобы меня обрадовал этот обмен репликами, но я, как лицо безгласное, сидел в углу машины и ждал, что будет дальше.

Проехав километра четыре, мы услышали впереди несколько взрывов, похожих на взрывы гранат. Потом дорога круто повернула, мы обогнули какой-то холмик, и передо мной открылась картина, которую я едва ли когда забуду.

За грядой холмов была довольно ровная степь. В степи, за несколько сот метров вправо от нас, начинался и уходил вдаль,

глубокий ров шириной в два два с половиной метра. В нем было навалено что-то сильно дымившееся. Поодаль, метрах в тридцати, стояли солдаты с лопатами; а еще немножко поодаль - группа офицеров, наблюдавших за происходившим. Этот дым был тот самый, который мы видели издалека, с места переговоров, а этот ров был местом сожжения вырытых на нашей территории японских трупов. Взрывы, которые мы слышали, когда проезжали, и которые слышали и потом, когда уже миновали это место и поехали дальше, были взрывы обойм с патронами и гранат, оставшихся в обмундировании у убитых. Они рвались там, во рву, когда до них доходил огонь. Этим, кстати, наверное, объяснялось то, что, облив бензином очередную партию трупов, солдаты отходили на приличную дистанцию от рва.

"Так вот оно, пресловутое священное сожжение трупов, - подумал я. Кому чей прах попадет при таком сожжении? Что будет вложено в какую урну, чьи останки на каком из японских островов окажутся и, наконец, всегда ли это будет прах людей или иногда и прах убитых лошадей, которых тоже, бывало, закапывали по соседству с погребенными солдатами, а потом вместе отрывали и грузили на машины - не из пренебрежения, а просто потому, что в этой страшной каше из обрывков гниющих тел уже иногда не было человеческих сил разобрать где что".

Теперь все это, сваленное с грузовиков, лежало, облитое бензином, во рву и горело. Потом этот пепел клался в аккуратные урны, урны запечатывались, вывозились по железной дороге через Маньчжурию, через море и опять по железным дорогам развозились на места в патриархальные домики японских деревень, и престарелые родители верили, что заботливо сбереженный прах их сына действительно покоится в этой урне.

Вся эта картина погребения не вызвала во мне тогда ничего, кроме удивления, смешанного с жалостью к мертвым и отвращением к живым.

Двигаясь по хорде, мы заехали, я думаю, километров на десять в глубь японского расположения. Па дорогах стояли столбы со стрелками-указателями. Каждые два-три километра попадались заправочные пункты, то есть просто стояло несколько бочек с бензином, и при них - солдат.

Проезжали легковые машины и грузовики, и тут же, рядом, мокрые, вспотевшие японские солдаты, втроем или вчетвером впрягшись в двухколесную повозку, тащили бочку с водой.

Степь была очень ровная, но, в противоположность нашим прифронтовым местам, наезженных колей было мало, шла только одна дорога; иногда стоял указатель поворота, и шло ответвление в сторону. Как я потом узнал из разговоров, японцы, чтобы не

блуждать и не путаться по ночам в степи, под страхом дисциплинарных взысканий запретили наезжать новые колеи; движение было разрешено только по уже наезженным дорогам. В условиях войны в пустыне нельзя не признать это вполне разумной мерой.

Наконец мы стали вновь приближаться к нашим позициям. Вдруг японская машина остановилась, полковник вылез из нее и на ломаном русском языке сказал, что придется минуту подождать: маленькая неисправность в моторе, сейчас шофер исправит. Японец-шофер стал копаться в моторе, а мы стояли рядом: полковник Харада - опираясь на свой самурайский меч, а наш мрачный майор - заложивши руки за спину и с удовольствием глядя на испортившуюся японскую машину.

Не помню, о чем мы говорили; о чем-то, очевидно, говорили, потому что прошло минут десять, а японец все еще копался с машиной. Наш шофер ходил вокруг японского. Ему явно и мучительно хотелось объяснить японцу, что надо предпринять, и, судя по его виду, он точно знал, что именно надо сделать, но не решился вмешаться и лишь искоса поглядывал на майора, ожидая разрешения. Наконец японец что-то подвернул, подкрутил, мучения нашего шофера кончились; мы сели и снова поехали вслед за японцами.

- Не терпелось помочь, - желчно сказал майор.

- Так ведь что там: продуть, и все, - сказал шофер. - А он не понимает.

- А ты бы ему продул.

- Да я бы продул, да ведь не знаю, можно ли...

- То-то - "не знаю", - сказал майор. - Пусть останавливаются. А мы подождем, мы не гордые. Пусть на наших глазах унижают достоинство своей техники.

Мы проехали еще минут пять, и японцы опять остановились. Полковник Харада вылез и сказал, что нам придется подождать минуточку, потому что в машине снова что-то испортилось. Японский шофер, подняв капот, лихорадочно завозился в машине, наш ходил кругом него, полковник Харада по-прежнему опирался на свой самурайский меч и смотрел в спину своему шоферу такими глазами, что я подумал, шоферу сегодня не миновать палок или чего-нибудь в этом роде - уж очень судорожно улыбающимся было лицо у полковника Харада.

Так мы постояли минут десять. Майор посмотрел на небо, потом на часы и сказал:

- Опоздаем.

Потом опять помолчал, видимо колеблясь, и наконец сказал шоферу:

- Федосеев, помогите.

Федосеев кинулся к мотору. С минуту они поговорили с японским шофером на том непонятном для всех других особом шоферском языке, о котором в одном из военных очерков сорок первого года так хорошо писал Евгений Петров; японец что-то повернул, наш что-то повернул, кто-то куда-то подул, мотор завелся, и мы поехали.

Японцы ехали по-прежнему впереди нас, на дистанции шагов в сто. На нашем пути встретился маленький холмик, и мы на несколько секунд потеряли японцев из виду: они уже перевалили, а мы только поднимались. А когда мы поднялись на холмик, то увидели, что японцы атакованы нашим броневичком, на крыле которого с наганом в руке стоит какой-то из наших командиров. Полковник Харада, вылезший из своего "шевроле", что-то пытался показывать руками. Наш командир, не сходя с подножки броневика, тоже жестикулировал, но жестикуляция у него получалась более внушительная, ибо в одной руке у него оставался забытый в пылу спора наган.

Подъехав, мы выяснили, в чем дело. Оказывается, мы из нейтральной зоны заехали в зону одной из наших дивизий. И надо сказать, что у капитана, стоявшего на подножке броневика, заметно омрачилось лицо, когда он увидел нас и, выслушав наши объяснения, уразумел, что мы едем вместе с этим японским полковником, что японец - парламентер и что его нельзя схватить и пленить.

- А что мне - парламентер, не парламентер! - не сдавался капитан. - Вот продержу его два дня - пусть узнает, как заезжать на нашу линию!

- Так он же с нами!

- Ну и что ж, что с вами? А вот заехал. Вот задержу его дня на два!

- Пока вы только нас зря задерживаете!

- Вас пропустим, а его задержим!.. Вот сейчас задержим, - доверительно обратился он теперь уж непосредственно к японцу, - задержим, и все!

- Ну, ладно, довольно, - сказал мрачный майор. - Некому будет пленных сдавать и принимать. Поехали!

- Буду провожать вас до границы нашей зоны.

- Провожайте, провожайте.

И мы поехали, теперь уже мы впереди, за нами - Харада, а за ним бравый капитан на броневичке.

Наконец мы приехали на площадку, где должны были приземляться самолеты. По условиям, самолетов должно было приземлиться восемь: четыре с нашей стороны и четыре с

японской.

Через несколько минут после нашего приезда первыми, согласно условию, стали приземляться японские самолеты. Три из них пришли пустыми только для того, чтобы забрать японских пленных. Только на четвертом оказались тяжелораненые наши - человек двенадцать: небритые, грязные, обросшие, ужасно исхудалые, в большинстве с тяжелыми ранениями, некоторые с ампутациями.

Один взятый еще в мае старшина был страшно худой, заросший до глаз бородой, в которой появилась седина, с ввалившимися глазами, с перебинтованной грудью, с одной ногой в шине и, что меня особенно поразило, в обгорелой гимнастерке без одного рукава. Так он был взят на поле боя, раненный в грудь, ногу и руку, в обгоревшей гимнастерке, и в таком же виде его возвращали нам через пять месяцев.

Здесь же на площадке стоял наш маленький санитарный автобус. Оттуда раненым быстро притащили еду, шоколад, кажется, сгущенное молоко и еще что-то, поили их и кормили. Минут через пятнадцать подошли и паши самолеты; они снизились один за другим, и наши с помощью японцев стали вытаскивать оттуда японских тяжелораненых. Было их, по-моему, человек семьдесят, все на носилках, все тяжелые; некоторые могли садиться на носилках, некоторые лежали пластом. Все были одеты в чистое белье и в чистенькое, новенькое, с иголочки, японское обмундирование. Рядом с каждым лежала на носилках новенькая японская шинель, каждый был накрыт до пояса новеньким японским одеялом, словом, видимо, все соответствовало инструкции - "сдать в полном порядочке".

Я так и слышу, как звучат эти слова: "Сдать в полном порядочке". Сдали действительно в полном порядочке. Кстати сказать, это было нетрудно: в наши руки попало не то пятнадцать, не то двадцать тысяч полных комплектов зимнего обмундирования, завезенного японцами в предвидении зимней кампании.

Японцы лежали мрачно и тихо, чувствовалась их угнетенность. Полковник Харада, очень любезный и улыбчивый с нами, вдруг стал говорить каким-то свистящим, как хлыст, голосом. Бывшие тут же два японских майора и два капитана, - как выяснилось, военные врачи, - распоряжались выгрузкой и главным образом погрузкой пленных на самолеты. Японские санитары действовали грубо, швыряли носилки об землю, но никто из раненых не застонал и не охнул. Наши вытаскивали их гораздо мягче, вежливей, и даже не вежливей, а просто-напросто сердечней.

Японцы вели себя со своими ранеными нарочито грубо. В этом чувствовалась не столько действительная грубость, сколько необходимость быть грубыми на глазах у начальства, необходимость показать презрение к этим пленным. Санитары старались вовсю. Доктора считали носилки и тоже разговаривали резкими и свистящими голосами. Ни один из них так и не ответил на те несколько вопросов, которые - стоя рядом, я слышал это - задали им пленные. Врачи и санитары, не стесняясь, перешагивали через носилки.

Потом, когда выгрузили всех пленных, санитары вдруг появились с пачками белой бумаги, пошли вдоль рядов и одному за другим, быстро и грубо, начали надевать каждому из раненых на головы колпаки, похожие на большие пакеты, в которые у нас в магазинах насыпают крупу. Эти большие пакеты из плотной, в несколько рядов склеенной бумаги напяливались пленным на головы.

Как-то странно и тяжело было смотреть, как тем из раненых, кто сам не мог приподнять голову, грубо приподнимали ее и нахлобучивали на нее пакет, а следующий, тот, кто мог поднимать голову, уже сам приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу пакету.

Полковник Харада проходил мимо меня. Я задержал его и спросил: что они делают с пленными? Он быстро остановился и произвел на своем лице два необыкновенно быстрых движения: сначала он быстро улыбнулся. Это был жест по отношению ко мне - он отвечал на мой вопрос. Потом эта улыбка так же быстро исчезла, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных и сделав очень короткий и очень презрительный жест в их сторону, он сказал:

- Это надевают на них для их пользы, чтобы им было не стыдно смотреть в лицо офицерам и солдатам императорской армии.

Наверно, надо было сказать ему, что после всего происшедшего на Халхин-Голе некоторым генералам и офицерам японской армии следовало бы надеть на голову такие мешки, чтобы им не было стыдно смотреть на своих возвращающихся из плена солдат, но, как часто в таких случаях бывает, эта мысль пришла мне в голову позднее, чем нужно, Харада уже отошел и отдавал какие-то распоряжения.

Пленных японцев быстро и грубо запихивали, именно запихивали, в японские самолеты, наших погрузили в один из наших самолетов. Самолеты один за другим начали подниматься в воздух, а мы остались на быстро опустевшей посадочной площадке.

Если мы хотели застать хотя бы конец официальной церемонии на главном пункте передачи пленных, надо было немедленно ехать назад. Однако когда мы подошли к машинам, то выяснилось, что машина полковника Харада в третий раз испортилась, и его шофер, стоя спиной к нам, копался в моторе. Харада, ни слова не говоря, подошел к нему сзади и, держа свой офицерский меч за середину, легонько дотронулся ножнами до ноги шофера. Одновременно он слегка обернулся к нам и улыбнулся. Улыбка была для нас. Шофер повернулся. У него были такие испуганные глаза, что я понял: пока над ним стоит Харада, он может копаться в моторе два, три, двенадцать часов, но все равно с этими ошалевшими от страха глазами ничего не починит.

Харада сказал что-то по-японски, шофер тоже ответил по-японски. Харада улыбнулся нам и сказал:

- Боюсь, что не доедем.

Тогда мы предложили ему сесть в нашу машину вместе с нами. Он поколебался и сказал:

- Хорошо, спасибо.

Задержавшись около своего шофера, он начал что-то говорить ему. В это время наш угрюмый майор и переводчик препирались, как быть теперь: выставлять через окно белый флаг или нет. Теперь перед нами уже не поедет японская машина, так что в нас наверняка будут стрелять.

- Да, но с нами ихний полковник едет, - сказал майор.

- Да, но его не сразу увидят. Увидят нашу машину в тылу японского расположения. Представьте себе, в нашем тылу - японская машина! Сперва обстреляют нас, а потом уже его заметят, - говорил переводчик.

- Что же, в нашей машине будет японский полковник, - говорил майор, - а мы белый флаг выставим, как будто мы сдались ему? Нет, так, без флага поедем!

Полковник Харада подошел к нам, и мы сели в нашу "эмку", майор снова впереди, а мы втроем сзади: с одного бока переводчик, посредине полковник, а с другого бока я. Харада был изрядно стиснут между нами. Меч, поставленный между ногами, мешал ему, и на кочках казалось, что он вот-вот выбьет себе мечом зубы. Кроме того, ему мешала лежавшая сзади на сиденье винтовка, а вид рассыпанных на полу гранат тоже, наверно, действовал не слишком утешительно.

Должно быть, сыграла свою роль и недавняя встреча с ретивым капитаном броневичка. Во всяком случае, когда мы стали разворачиваться и выезжать с посадочной площадки, Харада встревожился и стал говорить:

- Нет, не сюда, а сюда! Дорога сюда!

Он, очевидно опасался, что его завезут в наше расположение. Майор повернулся и мрачно сказал:

- Я дорогу знаю. Где раз проехал, второй раз знаю. Я вас довезу, вы не беспокойтесь.

- Я не беспокоюсь, - сказал полковник и начал опять улыбаться и расспрашивать нас о каких-то вещах, вовсе не относившихся ни к нашей поездке, ни к войне: о женщинах, о высшем образовании и о Москве, где он когда-то был не то помощником военного атташе, не то кем-то еще.

Теперь мы уже явно ехали по японской территории, но полковник, стиснутый нами с двух сторон и сидевший в нашей машине, видимо, чувствовал себя все-таки неуютно. Мы с переводчиком тоже чувствовали себя не слишком хорошо и все время боялись, что кто-нибудь из японских солдат, стоявших на постах на поворотах дороги, возьмет и выпалит в нас. Я очень удивлялся, как этого не случилось. Может быть, японцев гипнотизировала неукротимая уверенность нашего майора, что все будет в порядке и что его никто не посмеет тронуть, а может, их ошеломлял вид одинокой, без всякого сопровождения проезжавшей через их позиции русской машины, по никто из них так и не выстрелил. Винтовки поднимались, машина подъезжала ближе, в пяти шагах японцы видели стиснутого между нами японского полковника, делали ему на караул по-ефрейторски, и мы проезжали дальше.

Так в конце концов мы благополучно вернулись к месту переговоров.

К тому времени, когда мы вернулись, церемония опроса и подсчета была закончена, и мимо нас промаршировали пленные.

Вначале прошли наши, их было человек восемьдесят. Во главе их шел одетый в синий танкистский комбинезон худой, черный, бородатый человек с печальными глазами и рукой на перевязи. Это, как мне сказали, был майор командир батальона нашей бронетанковой бригады. Его считали погибшим в одном из боев еще в июле. Но оказалось, что он в плену. Как старший по званию среди пленных, он вел колонну.

Наши пленные молча прошли мимо нас и скрылись за поворотом дороги, уходившей к нашим позициям. Потом прошли японцы. Замыкая их колонну, ехали две открытые машины, в которых сидели раненые главным образом в ноги.

Дорога. По ней, замыкая колонну, едет последняя машина с японскими пленными. Она едет сначала мимо маленькой группы наших врачей и сестер, потом мимо группы наших командиров, руководивших передачей, потом мимо большой группы японских

офицеров.

И вот на этом последнем куске дороги, под взглядами всех, кто стоит по сторонам ее, в кузове последней машины поднимается японец и демонстративно долго приветственно машет нашим врачам и сестрам перевязанной бинтом кистью.

Все стоят молча, наши и японцы, все это видят. А он, приподнявшись в кузове, все машет и машет рукой, машет долго, до тех пор, пока машина не скрывается за поворотом.

Кто был этот человек? Японский коммунист или просто человек, которому спасли жизнь наши врачи и который, несмотря ни на что, хотел выразить им последнюю благодарность? Что ждало этого человека там, в Японии: дисциплинарное взыскание или военный суд? Не знаю, но эта сцена до сих пор живет в моей памяти. Потом, вернувшись с Халхин-Гола, я написал об этом стихотворение "Самый храбрый", но мне не удалось выразить в нем все то, что было у меня на сердце, когда я видел эту сцену.

Вот, пожалуй, и все, что имело смысл вспомнить в связи с моей первой корреспондентской работой в Монголии. Многое забылось, а многое помнится слишком туманно для того, чтобы иметь право записывать это на бумагу.

После обмена пленными я провел на Халхин-Голе всего три или четыре дня. Меня тянуло на Запад. Казалось, что там, на Западе, вот-вот развернутся военные события. К счастью, я тогда ошибся на полтора года.

Два или три дня не было самолета. Я решил съездить проститься к танкистам. Майор Михайлов свез меня на Баин-Цаган, на место знаменитого баин-цаганского побоища, где наши танки одни, без пехоты, уничтожили перебравшуюся на этот берег Халхин-Гола японскую дивизию. Мы ездили и ходили по этой большой, плоской горе. Михайлов показывал мне места, откуда выходили его танки, где он шел сам, где убили его водителя, где он разворачивался, где стояли японские пушки.

Было холодно, дул сильный ветер, выдувал песок из-под травы и обнажал ее корни. Всюду по горе были расшвыряны гильзы, осколки, вдавленные котелки, а кое-где рядом с кусками железа в песке валялись кости.

Все-таки поле боя - всегда печальное зрелище, даже когда его победное поле, даже когда оно уже почти заросло травой и не являет своим видом ничего ужасного.

На следующий день мы от нечего делать ездили с Ортенбергом в степь на озера и стреляли из нагана в уток, и он даже убил одну или двух, потому что утки не привыкли здесь, чтобы по ним стреляли; они сидели на виду, абсолютно неподвижно и, взлетев после выстрела, снова садились на

прежнее место. Но добраться до уток мы так и не смогли, потому что вода озер была обманчивой. Под белой водой тянулись непроходимые солончаки.

На обратном пути в нашу редакцию я в последний раз видел монгольский мираж. На горизонте громоздились горы, потом они подтаяли, и у их подножия оказалось озеро. Потом исчезло и озеро, и появился лес. Потом исчез и он.

Мы поздно вернулись и долго сидели в юрте, вспоминая прошедшие дни. С боями здесь было кончено, новых как будто не предвиделось. В окрестных степях было холодно, ветрено и пустынно.

А на следующий день вдруг подвернулся самолет ТБ-3. На этом самолете везли человек тридцать пленных, не то баргутов из Внутренней Монголии, не то японцев, не пожелавших вернуться к себе. Везли их в Читу. Они были погружены в крылья, а нас с Кружковым посадили в переднюю штурманскую кабину.

По стечению несчастных случайностей полет едва не кончился плохо. Сначала мы увидели, как перестал крутиться один винт, и мы медленно пошли на трех моторах над сплошными лесами. Недалеко от Читы отказал второй мотор. К счастью, мы находились на большой высоте, и пилот, теряя высоту, стал медленно идти на оставшихся моторах. Так он тянул тридцать или сорок километров, пока наконец мы сели, не там, где должны были, не долетев до Читы.

Когда мы вылезли из самолета, совершенно измученный пилот стоял и стирал пот с лица и шеи.

- Прилетели, - сказал он. - Не думал, что долетим.

На полуторатонке добрались до Читы. Читинский поезд ушел пятнадцать минут назад. Предстояло трое суток ждать следующего, потому что сесть на проходящий хабаровский или владивостокский в те дни не было никакой возможности.

Если не ошибаюсь, в Читу мы попали около десятого октября. Через неделю я был в Москве, а еще через день оказался в Западной Белоруссии...

1948 - 1968